

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БОЛЬШИЕ КНИГИ

Александр  
Чудаков

ЛОЖИТСЯ  
МГЛА  
НА СТАРЫЕ  
СТУПЕНИ

«АЗБУКА»

18+

1994-1995





Русская литература. Большие книги

Александр Чудаков

**Ложится мгла на старые ступени**

«Азбука-Аттикус»

2000

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Чудаков А. П.**

Ложится мгла на старые ступени / А. П. Чудаков — «Азбука-Аттикус», 2000 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-22585-5

Роман «Ложится мгла на старые ступени», признанный лучшим произведением 2000-х годов (премия «Русский Букер десятилетия», 2011), основан на семейной истории автора. Александр Павлович Чудаков, один из крупнейших русских филологов XX века, вырос в интеллигентной семье, волей судьбы заброшенной на край света – в Щучинск, город ссыльных на границе России и Казахстана. В суровые послевоенные годы, в условиях постоянной угрозы новых репрессий и отсутствия самого необходимого семья главного героя сумела не только выжить: подобно новым Робинсонам, эти люди восстанавливают потерянную цивилизацию. Несмотря ни на что, они сумели не озлобиться и сохранить верность своим истокам. Используется нецензурная брань.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22585-5

© Чудаков А. П., 2000  
© Азбука-Аттикус, 2000

## Содержание

1. Армреслинг в Чебачинске	6
2. Претенденты на наследство	9
3. Воспитанница института благородных девиц	14
4. Четвёртая сибирская волна	21
5. Клава и Валя	27
6. Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег?	29
7. Кавалер Большой Золотой медали Великого князя	38
8. Гений орфографии Васька Восемьдесят Пять	45
9. В бане и около	48
10. Кооперативный конь Мальчик, или Черепаха Наполеона	53
11. Бычаги	60
12. Натуральное хозяйство XX века	65
13. Человек, Которыйнеест	75
14. Землекопы и матросы	78
15. Вдовый угол	83
Конец ознакомительного фрагмента.	86

# **Александр Чудаков**

## **Ложится мгла на старые ступени**

© А. П. Чудаков (наследник), 2023

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

## 1. Армреслинг в Чебачинске

Дед был очень силен. Когда он, в своей выгоревшей, с высоко подвёрнутыми рукавами рубахе, работал на огороде или строгал черенок для лопаты (отдыхая, он всегда строгал черенки, в углу сарая был их запас на десятилетия), Антон говорил про себя что-нибудь вроде: «Шары мышц катались у него под кожей» (Антон любил выразиться книжно). Но и теперь, когда деду перевалило за девяносто, когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знакомо покатился круглый шар, и Антон усмехнулся.

– Смейшься? – сказал дед. – Слаб я стал? Стал стар, однако был он прежде млад. Почему ты не говоришь мне, как герой вашего босяцкого писателя: «Что, умираешь?» И я бы ответил: «Да, умираю!»

А перед глазами Антона всплывала та, из прошлого, дедова рука, когда он пальцами разгибал гвозди или кровельное железо. И ещё отчётливей – эта рука на краю праздничного стола со скатертью и сдвинутой посудой – неужели это было больше тридцати лет назад?

Да, это было на свадьбе сына Переплёткина, только что вернувшегося с войны. С одной стороны стола сидел сам кузнец Кузьма Переплёткин, и от него, улыбаясь смущённо, но не удивлённо, отходил боец скотобойни Бондаренко, руку которого только что припечатал к скатерти кузнец в состязании, которое теперь именуют армреслинг, а тогда не называли никак. Удивляться не приходилось: в городке Чебачинске не было человека, чью руку не мог положить Переплёткин. Говорили, что раньше то же мог сделать ещё его погибший в лагерях младший брат, работавший у него в кузне молотобойцем.

Дед аккуратно повесил на спинку стула чёрный пиджак английского бостона, оставшийся от тройки, сшитой ещё перед первой войной, дважды лицованный, но всё ещё смотревшийся (было непостижимо: ещё на свете не существовало даже мамы, а дед уже щеголял в этом пиджаке), и закатал рукав белой батистовой рубашки, последней из двух дюжин, вывезенных в пятнадцатом году из Вильны. Твёрдо поставил локоть на стол, сомкнул с ладонью соперника свою, и она сразу потонула в огромной разлапой кисти кузнеца.

Одна рука – чёрная, с вьёвшейся окалиной, вся переплетённая не человеческими, а какими-то воловьими жилами («Жилы канатами вздулись на его руках», – привычно подумал Антон). Другая – вдвое тоньше, белая, а что под кожей в глубине чуть просвечивали голубоватые вены, знал один Антон, помнивший эти руки лучше, чем материнские. И один Антон знал железную твёрдость этой руки, её пальцев, без ключа отворачивающих гайки с тележных колёс. Такие же сильные пальцы были ещё только у одного человека – второй дедовой дочери, тёти Тани. Оказавшись в войну в ссылке (как чесеирка – член семьи изменника родины) в глухой деревне с тремя малолетними детьми, она работала на ферме дояркой. Об электродойке тогда не слыхивали, и бывали месяцы, когда она выдаивала вручную двадцать коров в день – по два раза каждую. Московский приятель Антона, специалист по мясо-молоку, говорил, что это всё сказки, такое невозможно, но это было – правда. Пальцы у тёти Тани были все искривлены, но хватка у них осталась стальная; когда сосед, здороваясь, в шутку сжал ей сильно руку, она в ответ так сдавила ему кисть, что та вспухла и с неделю болела.

Гости выпили уже первые батареи бутылок самогона, стоял шум.

– А ну, пролетарий на интеллигенцию!

– Это Переплёткин-то пролетарий?

Переплёткин – это Антон знал – был из семьи высланных кулаков.

– Ну а Львович – тоже нашёл советскую интеллигенцию.

– Это бабка у них из дворян. А он – из попов.

Судья-доброволец проверил, на одной ли линии установлены локти. Начали.

Шар от дедова локтя откатился сначала куда-то вглубь засученного рукава, потом чуть прикатился обратно и остановился. Канаты кузнеца выступили из-под кожи. Шар деда чуть-чуть вытянулся и стал похож на огромное яйцо («страусиное», – подумал образованный мальчик Антон). Канаты кузнеца выступили сильнее, стало видно, что они узловаты. Рука деда стала медленно клониться к столу. Для тех, кто, как Антон, стоял справа от Переплёткина, его рука совсем закрыла дедову руку.

– Кузьма, Кузьма! – кричали оттуда.

– Восторги преждевременны. – Антон узнал скрипучий голос профессора Резенкампа.

Рука деда клониться перестала. Переплёткин посмотрел удивлённо. Видно, он наддал, потому что вспух ещё один канат – на лбу.

Ладонь деда стала медленно подниматься – ещё, ещё, и вот обе руки опять стоят вертикально, как будто и не было этих минут, этой вздувшейся жилы на лбу кузнеца, этой испарины на лбу деда.

Руки чуть заметно вибрировали, как сдвоенный механический рычаг, подключённый к какому-то мощному мотору. Туда – сюда. Сюда – туда. Снова немного сюда. Чуть туда. И опять неподвижность, и только еле заметная вибрация.

Сдвоенный рычаг вдруг ожил. И опять стал клониться. Но рука деда теперь была сверху! Однако когда до столешницы оставался совсем пустяк, рычаг вдруг пошёл обратно. И замер надолго в вертикальном положении.

– Ничья, ничья! – закричали сначала с одной, а потом с другой стороны стола. – Ничья!

– Дед, – сказал Антон, подавая ему стакан с водой, – а тогда, на свадьбе, после войны, ты ведь мог бы положить Переплёткина?

– Пожалуй.

– Так что ж?..

– Зачем? Для него это профессиональная гордость. К чему ставить человека в неловкое положение.

На днях, когда дед лежал в больнице, перед обходом врача со свитой студентов он снял и спрятал в тумбочку нателный крест. Дважды перекрестился и, взглянув на Антона, слабо улыбнулся. Брат деда, о. Павел, рассказывал, что в молодости тот любил прихвастнуть силой. Разгружают рожь – отодвинет работника, подставит плечо под пятипудовый мешок, другое – под второй такой же, и пойдёт, не сгибаясь, к амбару. Нет, таким хвостом деда представить было нельзя никак.

Любую гимнастику дед презирал, не видя в ней проку ни для себя, ни для хозяйства; лучше расколоть утром три-четыре чурки, побросать навоз. Отец был с ним солидарен, но подводил научную базу: никакая гимнастика не даёт такой разносторонней нагрузки, как колка дров, – работают все группы мышц. Подначитавшись брошюр, Антон заявил: специалисты считают, что при физическом труде заняты как раз не все мышцы и после любой работы надо делать ещё гимнастику. Дед и отец дружно смеялись: «Поставить бы этих специалистов на дно траншеи или на верх стога на полдня! Спроси у Василия Илларионовича – он по рудникам двадцать лет жил рядом с рабочими бараками, там всё на людях, – видел он хоть одного шахтёра, делающего упражнения после смены?» Василий Илларионович такого шахтёра не видел.

– Дед, ну Переплёткин – кузнец. А в тебе откуда было столько силы?

– Видишь ли. Я – из семьи священников, потомственных, до Петра Первого, а то и дальше.

– Ну и что?

– А то, что – как сказал бы твой Дарвин – искусственный отбор.

При приёме в духовную семинарию существовало негласное правило: слабых, малорослых не принимать. Мальчиков привозили отцы – смотрели и на отцов. Те, кому предстояло нести людям слово Божие, должны быть красивые, высокие, сильные люди. К тому ж у них

чаще бывает бас или баритон – тоже момент немаловажный. Отбирали таких. И – тысячу лет, со времён святого Владимира.

Да, и о. Павел, протоиерей Горьковского кафедрального собора, и другой брат деда, что священствовал в Вильнюсе, и ещё один брат, священник в Звенигороде, – все они были высокие, крепкие люди. О. Павел отсидел десятку в мордовских лагерях, работал там на лесоповале, а и сейчас, в девяносто лет, был здоров и бодр. «Поповская кость!» – говорил отец Антона, садясь покурить, когда дед продолжал не торопясь и как-то даже незвучно разваливать колуном берёзовые колоды. Да, дед был сильнее отца, а ведь и отец был не слаб – жилистый, выносливый, из мужиков-однодворцев (в которых, впрочем, ещё бродил остаток дворянской крови и собачьей брови), выросший на тверском ржаном хлебе, – никому не уступал ни на покосе, ни на трелёвке леса. И годами – вдвое моложе, а деду тогда, после войны, перевалило за семьдесят, был он тёмный шатен, и седина лишь чуть пробивалась в густой шевелюре. А тётка Тамара и перед смертью, в свои девяносто, была как вороново крыло.

Дед не болел никогда. Но два года назад, когда младшая дочь, мать Антона, переехала в Москву, у него вдруг начали чернеть пальцы на правой ноге. Бабка и старшие дочери уговаривали сходить в поликлинику. Но в последнее время дед слушался только младшую, её не было, к врачу не пошёл – в девяносто три ходить по врачам глупо, а ногу показывать перестал, говоря, что всё прошло.

Но ничего не прошло, и когда дед всё же показал ногу, все ахнули: чернота дошла до середины голени. Если б захватили вовремя, можно было бы ограничиться ампутацией пальцев. Теперь пришлось отрезать ногу по колено.

Ходить на костылях дед не выучился, оказался лежачим; выбитый из полувекового ритма целодневной работы на огороде, во дворе, загрустил и ослаб, стал нервным. Сердился, когда бабка приносила завтрак в постель, перебирался, хватаясь за стулья, к столу. Бабка по забывчивости подавала два валенка. Дед на неё кричал – так Антон узнал, что дед умеет кричать. Бабка пугливо запихивала второй валенок под кровать, но и в обед, и в ужин всё начиналось снова. Убрать второй валенок совсем почему-то догадались не сразу.

В последний месяц дед совсем ослабел и велел написать всем детям и внукам, чтобы приехали проститься и «заодно решить кое-какие наследственные вопросы» – эта формулировка, говорила внучка Ира, писавшая письма под его диктовку, повторялась во всех посланьях.

– Прямо как в повести известного сибирского писателя «Последний срок», – говорила она. Библиотекарша районной библиотеки, Ира следила за современной литературой, но плохо запоминала фамилии авторов, жалуясь: «Их так много».

Антон подивился, прочитав в письме деда о наследственных вопросах. Какое наследство?

Шкаф с сотней книг? Столетний, ещё виленский, диванчик, который бабка называла козеткой? Правда, имелся дом. Но он был старый и ветхий. Кому он нужен?

Но Антон ошибался. Из тех, кто жил в Чебачинске, на наследство претендовали трое.



## 2. Претенденты на наследство

В старухе, встречавшей его на перроне, свою тётку Татьяну Леонидовну он не узнал. «Годы наложили неизгладимый отпечаток на её лицо», – подумал Антон.

Среди пяти дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж – за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тётя Таня никогда не уточняла за что, говоря только: «Ну, это был мерзавец».

Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолёт. Смершевцы не дремали – его арестовали тут же, ночь он провёл в ихней арестной землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной Армии. Впервые услышав эту историю в пятом классе, Антон никак не мог понять, как можно было сочинить подобную чушь, что человек, находясь в расположении наших войск, среди своих, которые тут же его схватят, сделал бы такую глупость. Но слушатели – два солдата Великой Отечественной – нисколько не удивились. Правда, реплики их – «разнарядка?», «не добирали до цифры?» – были ещё непонятней, но Антон вопросов никогда не задавал и, хоть его никто не предупреждал, нигде домашних разговоров не пересказывал, – может, поэтому при нём говорили не стесняясь. Или думали, что он ещё мало что понимает. Да и комната одна.

Вскоре после расстрела Татаева его жену с детьми: Вовкой шести лет, Колькой – четырёх и Катькой – двух с половиной отправили в пересыльную тюрьму в казахстанский город Акмолинск; четыре месяца она ждала приговора и была выслана в совхоз Смородиновка Акмолинской области, куда они добирались на попутных машинах, подводах, быках, пешком, шлёпая в валенках по апрельским лужам, другой обуви не было – арестовали зимой.

В посёлке Смородиновка тётя Таня устроилась дояркой, и это была удача, потому что каждый день она в грелке, спрятанной на животе, приносила детям молоко. Никаких карточек ей как ЧСИР не полагалось. Поселили их в телятнике, но обещали землянку – вот-вот должна была умереть её обитательница, такая же ссыльно-поселенка; каждый день посылали Вовку, дверь не запиралась, он входил и спрашивал: «Тётенька, вы ещё не померли?» – «Нет ещё, – отвечала тётенька, – приходи завтра». Когда она наконец умерла, их вселили на условия, что тётя Таня покойницу похоронит; с помощью двух соседок она повезла на ручной тележке тело на кладбище. Новая насельница впряглась в ручки-оглобли, одна соседка подталкивала тележку, то и дело застревавшую в жирном степном чернозёме, другая придерживала завёрнутое в мешковину тело, но тележка была маленькая, и оно всё время скатывалось в грязь, мешок скоро стал чёрный и липкий. За катафалком, растянувшись, двигалась похоронная процессия: Вовка, Колька, отставшая Катька. Однако счастье было недолгим: тётя Таня не ответила на притязания заведующего фермой, и её из землянки снова выселили в телятник – правда, другой, лучший: туда поступали новорождённые телки. Жить было можно: помещение оказалось большое и тёплое, коровы телились не каждый день, случались перерывы и по два, и даже по три дня, а на седьмое ноября вышел праздничный подарок – ни одного отёла целых пять дней, всё это время в помещении не было чужих. В телятнике они прожили два года, пока любвеобильного заведующего не пырнула вилами-трёхрожками возле навозной кучи новенькая доярка – чеченка. Пострадавший, дабы не подымать шуму, в больницу не обратился, а вилы были в навозе, через неделю он умер от общего сепсиса – пенициллин в этих местах появился только в середине пятидесятых.

Всю войну и десять лет после тётя Таня проработала на ферме, без выходных и отпусков, на руки её страшно было смотреть, и сама она стала худа до прозрачности – пройди-свет.

В голодном сорок шестом бабка выписала старшего – Вовку – в Чебачинск, и он стал жить с нами. Был он молчалив, никогда ни на что не жаловался. Сильно порезав однажды палец, залез под стол и сидел, собирая капавшую кровь в горсть; когда наполнялась, осторожно выливал кровь в щель. Он много болел, ему давали красный стрептоцид, отчего его струйка на снегу была алой, чему я очень завидовал. Был он старше меня на два года, но пошёл только в первый класс, я же, поступив сразу во второй, был уже в третьем, чем перед Вовкой страшно задавался. Наученный дедом читать так рано, что не помнил себя неграмотным, высмеивал читавшего по складам братца. Но недолго: читать он научился быстро, а складывал и умножал в уме к концу года уже лучше меня. «В отца, – вздыхала бабка. – Тот все расчёты делал без логарифмической линейки».

Тетрадей не было; учительница сказала, чтобы Вовке купили какую-нибудь книгу, где бумага побелее. Бабка купила «Краткий курс истории ВКП(б)» – в магазине, где продавался керосин, графины и стаканы производства местного стеклозавода, деревянные грабли и табуретки местного же промкомбината, стояла ещё и эта книга – целая полка. Бумага в ней была наилучшая; Вовка выводил свои крючки и «элементы букв» прямо поверх печатного текста. Перед тем как текст навсегда пропадал за ядовитыми фиолетовыми элементами, мы его внимательно прочитывали, а потом экзаменовали друг друга: «У кого был мундир английский?» – «У Колчака». – «А табак какой?» – «Японский». – «А кто ушёл в кусты?» – «Плеханов». Вторую часть этой тетрадки Вовка озаглавил «Рыхметика» и решал там примеры. Начиналась она на знаменитой четвёртой – философской – главе «Краткого курса». Но учительница сказала, что под арифметику надо завести особую тетрадь – для этого отец дал Вовке брошюру «Критика Готской программы», но она оказалась неинтересной, только предисловие – какого-то академика – начиналось хорошо, со стихов, правда записанных не в столбик: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма».

Вовка проучился в нашей школе только год. Я писал ему письма в Смородиновку. Видимо, в них было что-то обидное и хвастливое, потому что Вовка вскоре прислал мне в ответ письмо-акrostих, который расшифровывался так: «Антоша англичанин хвастунок». Центральное слово составилось из стихов: «А ты всё же задаёшься, Надо меньше воображать, Говоришь, хотя смеёшься, Лишь не надо обзывать. И хотя английский учишь, Часто это не пиши, А как это ты получишь, Напиши мне от души» и т. д.

Я был потрясён. Вовка, который всего год назад на моих глазах читал по слогам, теперь писал стихи – да ещё акrostихи, о существовании которых в природе я и не подозревал! Много позже Вовкина учительница говорила, что другого такого способного ученика не помнит за тридцать лет. В своей Смородиновке Вовка окончил семь классов и школу трактористов и комбайнеров. Когда я приехал по письму деда, он жил всё там же, с женой-дояркой и четырьмя дочками.

Тётя Таня перебралась с остальными детьми в Чебачинск; отец вывез их из Смородиновки на грузовике вместе с коровой, настоящей симменталкой, которую не бросать же было; всю дорогу она мычала и стучала рогами о борт. Потом он устроил среднего, Кольку, в школу киномехаников, что было не так просто – после плохо залеченного в детстве отита он оказался глуховат, но в комиссии сидел бывший ученик отца. Начав работать киномехаником, Колька проявил необычайную разворотливость: продавал какие-то поддельные билеты, которые подпольно ему печатали в местной типографии, на сеансах в туберкулёзных санаториях с больных брал плату. Жулик из него вышел первостатейный. Интересовали его только деньги. Нашёл богатую невесту – дочь известной местной спекулянтки Мани Делец. «Ляжет под одеяло, – жаловалась свекрови молодая в медовый месяц, – и отвернётся к стенке. Я и грудью, и всем прижимаюсь, и ногу на него кладу, а потом тоже отвернусь. Так и лежим, задница к заднице». После женитьбы купил себе мотоцикл – на машину тёща денег не дала.

Катка в первый год жила у нас, но потом ей пришлось отказать – с первых дней она подворовывала. Очень ловко крала деньги, спрятать которые от неё не было никакой возможности – она находила их в швейной шкатулке, в книгах, под радиоприёмником; брала только часть, но ощутимую. Мама обе зарплаты, свою и отцовскую, стала носить в портфеле в школу, где он в безопасности валялся в учительской. Лишившись этого дохода, Катка стала таскать чайные серебряные ложки, чулки, однажды украла трёхлитровую банку подсолнечного масла, за которым Тамара, другая дочь деда, стояла в очереди полдня. Мама определила её в медучилище, что тоже было непросто (училась она скверно) – опять же через бывшую ученицу. Став медсестрой, жулила не хуже братца. Делала какие-то левые уколы, таскала из больницы лекарства, устраивала липовые справки. Оба были жадны, постоянно ввали, всегда и везде, в крупном и в мелочах. Дед говорил: «Они виноваты только вполтину. Честная бедность – всегда бедность до определённых пределов. Здесь же была нищета. Страшная – с младенчества. Нищие не бывают нравственными». Антон деду верил, но Катку и Кольку не любил. Когда дед умер, его младший брат, священник в Литве, в Шауляе, где когда-то было имение их отца, прислал на погребение крупную сумму. Почтальонку встретил Колька и никому ничего не сказал. Когда от о. Владимира пришло письмо, всё вскрылось, но Колька заявил, что деньги положил на окошко. Сейчас тётя Таня жила у него, в казённой квартире при кинотеатре. На дом зарился, видимо, Колька.

Старшая дочь Тамара, всю жизнь прожившая со стариками, так и не вышедшая замуж, доброе, безответное существо, и не догадывалась, что может на что-то претендовать. Она топила печь, варила, стирала, мыла полы, гоняла корову в стадо. Стадо пастух пригонял вечером только до околицы, где коров разбирали хозяйки, а коровы, которые умные, шли дальше сами. Наша Зорька была умная, но иногда что-то на неё находило и она убегала за речку к Каме-нухе или ещё дальше – в излоги. Корову надо было найти до темноты. Бывало, что её искали дядя Лёня, дед, даже мама, я пробовал трижды. Никто не нашёл ни разу. Тамара находила всегда. Мне эта её способность казалась сверхъестественной. Отец объяснял: Тамара знает, что корову *надо* найти. И находит. Это было не очень понятно. В работе она была целыми днями, только по воскресеньям бабка отпускала её в церковь, да иногда поздно вечером она доставала тетрадку, куда коряво переписывала детские рассказы Толстого, тексты из любого оказавшегося на столе учебника, что-нибудь из молитвенника, чаще всего одну вечернюю молитву: «И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире». Дети её дразнили «Шоша», – не знаю, откуда это взялось, – она обижалась. Я не дразнил, давал ей тетрадки, потом привозил из Москвы кофточки. Но позже, когда Колька оттяпал у неё квартиру и запихнул её в дом престарелых в далёкий Павлодар, я только посылал туда изредка посылки и всё собирался навестить – всего три часа лёту от Москвы, – не навестил. От неё не осталось ничего: ни её тетрадок, ни её икон. Только одна фотография: обернувшись к камере, она выжимает бельё. Пятнадцать лет она не видела ни одного родного лица, никого из нас, кого так любила и к кому обращалась в письмах: «Самые дорогие все».

Третьим претендентом был дядя Лёня, младший из дедовых детей. Антон узнал его позже других своих дядек и тёток – в тридцать восьмом году его призвали в армию, потом началась финская война (туда он попал как хороший лыжник – признался в этом единственный из всего батальона сибиряков), потом – отечественная, затем – японская, потом с Дальнего Востока его перебросили на крайний запад бороться с бендеровцами; из последней военной экспедиции он вынес два лозунга: «Хай живе пан Бендера та его жинка Параска» и «Хай живе двадцать восьма роковина жовтневой революции». Вернулся он только в сорок седьмом. Говорили: Лёня – везунчик, он был связистом, но его даже не ранили; правда, дважды контузило. Тётя Лариса считала, что это отразилось на его умственных способностях. Она имела в виду то, что он с увлечением играл со своими малолетними племянниками и племянницами в морской бой

и в карты, очень расстраивался, когда проигрывал, и поэтому часто жулил, пряча карты за голенища кирзовых сапог.

В конце войны дядя Лёня под Белой Церковью познакомился с полячкой Зосей, которой слал из Германии посылки. Тётя Лариса спрашивала, почему он ничего ни разу не прислал старикам, а если уж всё отсылал Зосичке, то чего ж к ней не едет. Он отмалчивался, но когда особенно приставала, говорил отрывисто: «Написала. Не приезжай». – «И ничего не объяснила?» – «Объяснила. Пишет: зачем приезжать».

С войны он пришёл членом партии, но об этом дома узнали только тогда, когда кто-то из его теперешних сослуживцев-железнодорожников сказал бабке, что Леонида Леонидовича недавно исключили, так как он ни разу не заплатил членские взносы. Вернулся он в медалях, только «За отвагу» было целых три. Антону больше всего нравилась медаль «За взятие Кёнигс-берга». Рассказывал он кое-что почему-то только про финскую войну. Как какие-то части прибыли укомплектованные резиновыми сапогами – а морозы стояли под сорок. Антон читал в «Пионере» рассказы, что опаснее всего были финские снайперы – «кукушки».

– Какие кукушки. Чушь. Какой дурак на дерево. Полезет. В такой мороз. Зачем.

Про эту войну дядя Лёня не говорил ни слова, а когда пробовали расспрашивать, как и что, говорил только: «Что, что. Таскал катушку». И никаких чувств не обнаруживал. Только раз Антон видел, как он разволновался. Приехавший из Саратова на золотую свадьбу стариков его старший брат Николай Леонидович, закончивший войну на Эльбе, рассказал, что у американцев вместо катушек и провода была радиосвязь. Дядя Лёня, обычно глядевший в землю, вскинул голову, что-то хотел сказать, потом снова опустил голову, на глазах показались слёзы. «Что с тобой, Лёнтя?» – поразила её тётя Лариса. «Ребят жалко», – сказал дядя Лёня, встал и вышел.

У него был блокнот, куда он на фронте списывал песни. Но после песни про синенький скромный платочек шла «Молитва митрополита Сергия, мостоблюстителя»: «Помози нам Боже, Спасителю наш. Восстани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоём победити; а им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления».

Всё было очень красиво: «подаждь», «венцы нетления», непонятно было только, кто такой «мостоблюститель». Антон спросил у деда, тот долго смеялся, вытирая слёзы, и позвал смеяться бородатого старика, бывшего дьякона, которого бабка кормила на кухне затирухой, но всё же объяснил и добавил, что Сергей теперь уже не местоблюститель патриаршего престола, а патриарх. Потом они долго спорили с бородатым, надо ли было восстанавливать патриаршество.

Дядя Лёня дошёл до Берлина. «На рейхстаге расписался?» – «Ребята расписались». – «А ты чего ж?» – «Мёста снизу на стенах. Уже не было. Говорят: ты здоровый. На плечи мне встал один. На него – другой. Тот расписался».

Вскоре он женился. Невеста была вдова – с двумя детьми. Но бабке это скорее даже нравилось: «Что ж им теперь, бедным, делать». Не нравилось ей другое – что жена сына курит и пьёт – сам он за годы службы в армии курить не научился и хмельного в рот не брал (на работе его считали баптистом: не только не пьёт, но и не матерится). «Ну что ж, можно понять, – говорила тётя Лариса. – Человек десять лет воевал. Одно место уже не выдерживает». Жена его через несколько лет уехала на заработки на Север, оставив ему детей, как выяснилось, насовсем; он нашёл вторую, которая тоже курила и пила уже по-чёрному. В пьяном виде она сильно обморозилась и умерла, от неё тоже остался ребёнок. Дядя Лёня женился снова, но и третья жена оказалась пьющей. Впрочем, каждый год исправно рожала.

Из-за всех этих матримониальных дел жил дядя всегда в каких-то хибарах, а одно время со всем выводком даже в землянке, которую сам отрыл по всем правилам (Антон, присочиняя, рассказывал своему другу Ваське Гагину, что сапёрной лопаткой) и накрыл отслужившими



срок шпалами, выделенными ему на железной дороге. Эти шпалы он сам перетаскал с путей, где их заменяли, на плече, за пять километров («на избёнку эту брёвнышки он один таскал сосновые»), был силен, в деда. «Ты бы автомобиль попросил, – жалела бабка. – Вон Гурка с вашей же дороги дрова на казённом авто привёз». – «Просил. Не дают, – отрывисто говорил дядя Лёня. – Не тяжело. Пушки. Когда из грязи. Вытаскивали. Намного тяжелей». Приехавший как раз тогда дядя Коля, в войну артиллерийский капитан, посетивши его жилище, поинтересовался, почему землянка в два наката: «Артналёта ждёшь, что ли?» – «Шпал столько выпи-сали. Сказали, все надо забрать».

Дяде Лёне дедов дом, пожалуй, был нужнее всех.

### 3. Воспитанница института благородных девиц

Ещё на чебачинском вокзале Антон спросил у тётки Тани: отчего дед всё время пишет о каких-то наследственных вопросах? Почему он просто не завещает всё нашей бабе?

Тётя Таня объяснила: с тех пор как деду ампутировали ногу, мать подалась. Никак не могла запомнить, что деду не нужно приносить два валенка, и всякий раз принималась искать второй. Всё время говорила про отрезанную ногу, что надо её похоронить. А в последнее время повредила совсем – никого не узнаёт, ни детей, ни внуков.

– Но её «мерси боку» всегда при ней, – с непонятным раздражением сказала тётка. – Сам увидишь.

Поезд сильно опоздал, и когда Антон вошёл, обед уже был в разгаре. Дед лежал у себя – туда предполагался отдельный визит. Бабка сидела на своём плетёном диванчике à la Луи Каторз, том самом, который вывезли из Вильны, когда бежали от немцев ещё в ту германскую. Сидела необычайно прямо, как из всех женщин мира сидят только выпускницы институтов благородных девиц.

– Добрый день, bonjour, – ласково сказала бабка и царственным движением протянула руку с полуопущенной кистью – нечто подобное Антон видел у Гоголевой в роли королевы. – Как voyage? Пожалуйста, позаботьтесь о приборе гостю.

Антон сел, не сводя глаз с бабки. На столе возле неё, как и раньше, на специальных зубчатых колёсиках, соединённых блестящей осью, располагался столовый прибор из девяти предметов: кроме обычных вилки и ножа – специальные для рыбы, особый нож – для фруктов, для чего-то ещё крохотный кривой ятаганчик, двузубая вилка и нечто среднее между чайной ложкой и лопаточкой, напоминающее миниатюрную совковую лопату. Владеть этими предметами Ольга Петровна пыталась приучить сначала своих детей, потом внуков, затем правнуков, однако ни с кем в том не преуспела, хотя применяла при наставленьях очень увлекательную, считалось, игру в вопросы-ответы – название, впрочем, не совсем точное, потому что всегда и спрашивала и отвечала она сама.

– В чём сходство между дыней и рыбой? Ни ту ни другую нельзя есть с помощью ножа. Дыню – только десертной ложкой.

– А какую рыбу можно есть с ножом? Только маринованную селёдку.

– Что можно есть руками? Раков и омаров. Рябчика, куру, утку – только с использованием ножа и вилки.

Но, увы, руками мы ели не омаров, а кур, обгрызая косточки до последнего волоконца, да ещё их потом и обсасывая. Сама бабка до этого не унижалась, что хорошо знал кот Нерон – он был мурласт, зевласт и просыпался только получить косточку от неё: там, он помнил, остаётся кое-что после вилки и ножа. Пользовалась бабка всегда всеми девятью предметами. Впрочем, и обычными она действовала с непостижимым искусством – небрежными, почти незаметными движениями намотанные на её вилку тонкие макароны напоминали обмотку трансформаторной катушки. Кроме столовоприборных, были у неё и другие вещи специального назначения – например, трубчатые щипцы с ручками из слоновой кости для растяжки бальных перчаток; в действии их Антону увидеть не пришлось.

– Кушайте. Салфетное кольцо не пусто?

Антон освободил салфетку; он хорошо помнил, как бабка осуждала дом какого-то вице-губернатора, где у горничной передник был не накрахмален, подгорничные – чуть не дети, грязнули, ножи и вилки – мельхиоровые, а салфетки – без колец, и ставили их на стол колпаками, как в ресторане. Впрочем, и гости были не лучше – затыкали салфетки за воротник. Вице-губернатор был из выскочек, из тех, что появились после самой первой революции, вообще мерзавец, без молитвы мимо не пройдёшь. Вот виленский губернатор, Николай

Алексеевич Любимов, был достойный человек, хорошего рода. Только сын у него получился неудачный, была какая-то неприятная история с гранатовым браслетом – про это даже что-то напечатал один известный писатель.

– Отведайте настойки.

Антон выпил настойки на смородиновом листе – из серебряной стопки со знакомой с детства надписью по кромке; если стопку поворачивать, можно было прочесть такой диалог: «Винушко, лейся мне в горлышко. – Хорошо, солнышко».

– С шампанского никогда не начинали, – вдруг сказала бабка. – Сперва подавали столовые вина. Разговор должен оживляться постепенно! А шампанское сразу ударяет в голову. Впрочем, теперь к этому и стремятся.

Обед был превосходный; бабка и её дочери были кулинарками высокого класса. Когда, ещё в Вильне, в конце девяностых, отец бабки Пётр Сигизмундович Налочь-Длусский-Склодовский проиграл в карты в дворянском собрании своё имение, семья переехала в город и впала в бедность, мать открыла «Семейные обеды». Обедом полагалось быть хорошими: пансионеры, молодые холостяки – адвокаты, педагоги, чиновники – это же всё были приличные люди! Дед, окончив Виленскую духовную семинарию, ожидал места. Приход можно было получить двумя путями: женитьбой на дочери священника или по его смерти. Первый вариант деда почему-то не устраивал, второго предстояло ожидать неопределённо долго; всё это время консистория, которую дед по-старинному именовал дикастерией, выплачивала кандидату содержание. Дед ждал уже два года и утомился питаться в кухмистерских («все эти трактиры, народные столовые в России всегда были скверные – даже до большевиков»); увидев в «Виленском вестнике» объявление, пришёл в тот же день. Его оставили обедать – бесплатно разумеется, все в первый раз у прабабки обедали *gratis*, не может же приличный господин покупать kota в мешке! Матери помогала семнадцатилетняя Оля, только что выпущенная из института благородных девиц и успешно овладевавшая поварским искусством. И Оля, и обеды деду настолько понравились, что он обедал целый год, пока не сделал предложение. Над бабкиными консоме, девоньяй, уткой на канапе, соусом *à la* Субиз в Чебачинске посмеивались, отец любил вернуть, что в «Национале» котлеты мягче («будут мягче, когда половина хлеба»), и Антон ждал, что уж в Москве... Но теперь, побывав и в других столицах, он говорил: лучше, чем у бабки, не едал нигде и никогда. От бабки он впервые услышал про пряженцы, мнишки в сметане, утрибку, пундики, кои потом нашёл у Гоголя и понял, что для него они вовсе не были экзотикой: знаками его странного мира они стали только у русского читателя и сильно с годами; в веках эта необычность будет расти.

Под вторую перемену блюд бабка всегда начинала светскую беседу.

– Кажется, сегодня прекрасная погода. Передайте, пожалуйста, соль. Благодарствуйте, вы так добры.

Знаменитые вилочки так и мелькали в её пальцах; не глядя, она возвращала каждую точно на своё колёсико. Протянув руку, она машинально вынула из пальцев Антона кусок хлеба и положила на мелкую тарелку, до этого непонятно пустовавшую слева: хлеб полагалось не откусывать от целого ломтя, а отламывать маленькими кусочками.

– А почему говорят, – шепнул Антон тёте Тане, – что баба наша не в себе? По-моему, как всегда.

– Подожди.

– Замечательная погода, – продолжала держать стол Ольга Петровна, – вполне пригодная для прогулки в экипаже...

В её глазах что-то прошло, и она добавила:

– Или на моторе. Солнце уже почти осеннее, можно без вуали. Если на даче – в панамской шапочке. А ты давно из Саратова? – бабка вдруг переменяла тему.

– Из Саратова? – несколько опешил Антон.

– А разве ты не живёшь со своей семьёй? Впрочем, теперь это модно.

Бабка спутала Антона с Николаем Леонидовичем, своим старшим сыном, который жил в Саратове и тоже должен был приехать. Был он девятьсот шестого года рождения.

Но беседа вернулась к темам еды и погоды, всё опять было мило и очень светски.

За чаем Антон поймал себя на том, что, твёрдо помня – торт надо есть, держа ложечку в левой руке, он совершенно забыл, в какую сторону должна глядеть ручка чашки перед чаепитием, а в какую – в его процессе, помнил только, что бабка придавала этому большое значение.

Кто-то из обедавших, размешивая сахар, звякнул ложкой; Ольга Петровна вздрогнула, как от боли. Она с беспокойством оглядела стол:

– А где третье? По-моему, мы варили... как его? этот напиток из фруктов.

– Компот! Позавчера, – замахала руками Тамара, – позавчера его варили!

– Баба, а ты не расскажешь, – решил Антон продлить светский разговор, – про бал в Зимнем дворце?

– Да. Большой бал. Их Величества... – бабка замолчала и стала промокать глаза кружевным платочком.

– Не надо, не надо, – забеспокоилась Тамара. – Она не помнит.

Но Антон помнил и сам – дословно – рассказ про Большой зимний бал во дворце, куда бабка попала как первая ученица Виленского института благородных девиц в год его окончания.

В десять часов в Николаевскую залу вошли под руку Их Величество Государь Император и Государыня Императрица Александра Фёдоровна. Государь был в мундире лейб-гвардии уланского Её Величества Государыни Императрицы полка и в Андреевской ленте через плечо. Государыня – в дивном бальном золотом туалете, отделанном панделоками из топазов. У плеч Её Величества и посреди корсажа платье украшали аграфы из крупнейших бриллиантов и жемчужин, а голову Государыни венчала диадема из того же драгоценного жемчуга и бриллиантов. Ещё Её Величество тоже имела Андреевскую ленту через плечо. Их Величества сопровождала гостившая тогда в столице испанская инфанта Евлалия. Она была в атласном дюшес платье, отделанном соболями, тоже в жемчуге и бриллиантах. Её Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Павловна была в бледно-розовом платье, обрамлённом как бы золотым шитьём, в бриллиантовых с сапфирами диадеме и ожерелье.

Обед окончился; Тамара помогла бабе встать; Ольга Петровна удивлённо на неё посмотрела, но, наклонив голову, сказала:

– Спасибо, добрая бабушка, что вы мне помогаете, вы так милы.

Мир для бабки был в густом тумане, всё сместилось и ушло – память, мысль, чувства. Незатронутым осталось одно: её дворянское воспитание.

Своим дворянством бабка не кичилась, это было в сороковые годы естественно, но его и не скрывала (что в те же сороковые было естественно гораздо менее), при случае спокойно подчёркивая социальную дистанцию – например, когда слышала, что некто, поранив руку, залепил рану пыльной паутиной из угла сарая, получил заражение крови и умер.

– Что с них возьмёшь? Простонародье!

Но её жизнь от жизни этого простонародья отличалась мало или была даже тяжелее, в грязи она возилась больше, потому что не просто стирала бельё на одиннадцать человек, а находила в себе силы его ещё отбеливать и крахмалить; после этого оно целый день висело в палисаднике, полощась на ветру или колом застывая на морозе (накрахмаленное бельё на морозе не сушилось – при низкой температуре, объясняла мама-химик, крахмал превращается в сахар и оно становится липким); скатерти, полотенца, простыни, наволочки пахли ветром и яблоневым цветом или снегом и морозным солнцем; бельё такой живой свежести Антон не видел потом ни в профессорских домах в Америке, ни в пятизвёздном отеле Баден-Бадена. Полы она мыла не раз в неделю, а через день; в своей комнате не давала красить, Тамара скребла



их ножом; не существовало большего наслаждения, чем пройтись летом босиком по только что высохшему высохшему полу, особенно по тем местам, где лежали жёлтые тёплые солнечные пятна. Одежда она выхлопывала ежедневно во дворе, это надо было делать вдвоём, и бабка безжалостно отрывала всякого, кто случался дома, от его занятий; между пушечными хлопками одежды она говорила:

– Вчера! Вытряхивали! А видишь сколько! Пыли! Теперь представь себе, что делается в городских одеялах, которые не вытряхивают годами!

Постели застилала сама – все остальные делали это неэстетично; мать из педагогических соображений заставляла Антона убирать свою постель, но бабка такое не поважала: это всё толстовство, мальчик из хорошей семьи не должен этим заниматься (Антон так и не выучился, за что потом много претерпел в пионерлагерях, на военных сборах и в семейной жизни). К внукам бабка была не так снисходительна. Мальчик ещё может позволить себе небрежность в уходе за руками. Но девушка! Мытьё несколько раз в день. И с разбавленным о’де колёном!

– А почему это касается только девушек?

Бабка удивлённо поворачивала голову – вбок и вверх:

– Потому что, когда она станет дамой, ей могут поцеловать руку.

С внуками бабка иногда беседовала специально на темы светского этикета, применяя знакомую вопросно-ответную систему.

– Может ли девушка приехать с родителями на званый обед? Только тогда, если у хозяйки или выполняющей эту роль сестры или другой родственницы амфитриона есть дочери.

– Может ли девушка снимать перчатку? Может и должна, с правой руки, в церкви. С левой – никогда, она будет смешна!

– Имела ли девушка свою визитную карточку? Не имела. Она приписывала своё имя на карточке матери. Молодой человек, понятно, обладал карточкой с раннего возраста.

С карточками вообще было сложно: не застав хозяев дома, оставляли карточку сильно загнутую с левой стороны кверху, при визите по случаю смерти или сороковин оставленную карточку полагалось загибать с правого бока вниз.

– Перед войной этот сгиб стали надрывать, – бабка возмущённо подымала голову и брови. – Но это уже декадентство.

– Баба, – спрашивал Антон студентом, – а почему во всей русской литературе ничего про это нет? Про это загибание справа, слева, вниз...

– А ты б хотел, чтобы вам это объяснял ваш босяк? – вмешивался дед, не упускавший случая вставить перо пролетарскому писателю.

Свои возраженья, где в виде примеров должны были фигурировать граф Толстой и Пушкин с его шестисотлетним дворянством, Антон проглатывал, но пытался иногда оспаривать нужность столь разветвлённого этикета. Дед это решительно отметал, подчёркивая целесообразность этикетных правил.

– Мужчина даёт даме правую руку. Вследствие этого она находится на удобнейшей стороне тротуара, не подвергаясь толчкам. На лестнице таким же образом дама тоже оказывается на предпочтительной стороне – у перил.

Бабка подхватывала тему и рассказывала, как надо ставить стекло и хрусталь на званых обедах: справа от прибора – стакан для красного вина, стакан для воды, бокал для шампанского, рюмку для мадеры, причём стаканы должны стоять рядом, бокал впереди и сбоку, а рюмка – с другого бока стаканов. Это каким-то сложным образом соотносилось с порядком подачи вин: после супа – мадера, за первым блюдом – бургонское и бордо, между холодными entrées и жарким – шато-икем и так далее. У того же виленского вице-губернатора к устрицам подавали шабли. Страшная ошибка! Устрицы запивают только шампанским, в меру охлаждённым. В меру! Сейчас почему-то думают, что оно должно быть ледяным. Это вторая страшная ошибка!

Иногда Антон спрашивал про мужской этикет и тоже узнавал много полезного: мужчина, входящий в конку, в вагон – то есть в такое место, где все в шляпах, должен приподнять свою шляпу или дотронуться до неё.

Молодой человек, явившийся с визитом, оставляет в передней кашне, пальто, зонт и входит со шляпой в руке. Если окажется, что он должен иметь руки свободными, он ставит свою шляпу на стул или на пол, но никогда на стол.

Застряли в голове и другие бабкины высказывания – видимо, из-за некоторой их неожиданности.

– Как всякий князь, он знал токарное дело.

– Как все настоящие аристократы, он любил простую пищу: щи, гречневую кашу...

В войну и после невиданными колерами на коленях, локтях, задах запестрели заплаты, к ним привыкли, на них не обращали вниманья. Замечала их, кажется, одна бабка; сама она дыры шتуковала так, что заштукоеванное место можно было разглядеть только на свет; увидев особенно яркую или грубую заплату, говорила:

– Валансьен посконью штопают! Простонародье!

Но с этим простонародьем она общалась всего больше – главным образом из-за гаданья на картах. Гадала бабка почти каждый вечер. Два сына на войне, дочь в ссылке, зять расстрелян, другой – на фронте, племянница с дочерью под оккупацией, брат мужа в лагере – было о чём спросить у карт. Приходили погадать соседки, к чему отец относился неодобрительно. Но, посмотрев фильм «В шесть часов вечера после войны», где пели «На картах о нас погадайте, бубновый король – это я», сказал: «Гадайте. Даже песня про вас есть». Соседки стали приводить своих соседок, не было ни одной, у которой всё обстояло благополучно, – или только такие и приходили?

Куда пойдёшь, что найдёшь, чем сердце успокоишь... Казённый дом, дорога, дорога, дорога...

На базаре бабка познакомилась с семьёй Попенок, которые подзадержались и на ночь глядя не могли ехать за сорок километров в свою Успенно-Юрьевку. Разумеется, пригласила их переночевать; Попенки стали останавливаться у Саввиных всегда, когда приезжали на базар. Бабка оправдывалась тем, что они дешёво продают ей гусей – по пятьдесят рублей. Правда, тётя Лариса смеясь рассказывала, что как-то случайно увидела, что таких же гусей на базаре они продавали по 45 рублей. Их лошадь, конечно, всю ночь хрупала саввинское сено, съедая пятидневную коровью норму, но об этом тоже говорили со смехом. Недели три в доме жила дочь Попенок: у бабы был рефлектор с синей лампочкой, а у девицы – какая-то опухоль; каждый вечер она этим рефлектором грела свою пышную белую грудь, которая под светом лампы делалась голубой; Антон не отрываясь глядел на эту грудь весь сеанс; девица почему-то не прогоняла его и только время от времени на него странно поглядывала.

Месяца три на бабкином сундуке жила старуха, вдова расстрелянного омского генерал-губернатора (Антон забыл только – царского или колчаковского, но твёрдо помнил, что выезжал губернатор в хорьковой шубе с воротником на больших бобрах), говорившая, что у неё рак и что она умрёт вот-вот, и просившая только немного подождать. Бабка потом пристроила губернаторшу в дом престарелых в Павлодар, где та почилa в возрасте ста двух лет и где её ещё застала Тамара, попавшая в этот дом после смерти деда и бабы через два десятилетия.

Из людей света, как их называла бабка, знакомых у неё было двое: англичанка Кошелева-Вильсон и племянник графа Стенбок-Фермора. Вильсон была единственная, кто вместе с бабкой пользовался всеми предметами её столового прибора; перед её визитом бабка отказывалась от своего яйца, чтобы сделать ей яичницу стрелягу-верещагу: тонкие ломтики сала зажаривались до каменной твёрдости, трещали и стреляли, у англичанки называлось: омлет с беконом. Была она немолода, но всегда ярко наругмьанена, за что местные дамы её осуждали. Она была замужем за англичанином, но когда её двадцатилетний сын утонул в Темзе, не захо-

тела видеть Лондона ни одного дня! И вернулась в Москву. Год шёл малоподходящий, тридцать седьмой, и она вскоре оказалась сначала в Карлаге, а потом в Чебачинске; жила она частными уроками. Позже она снова загремела в лагерь – по району был недобор по космополитам.

– В Лондоне жили? – рассказывал про допрос майор Берёза. – Восемнадцать лет?

– Девятнадцать.

– Очень хорошо. Ваш муж, мистер Вильсон...

– Сэр Вильсон!

– Какая разница.

– Огромная! – и головку этак вздёрнула. И отвечать не хотела, пока сэром не назвали...

Обхохочешься!

Антон очень любил слушать их разговоры.

– Всем было известно, – начинала англичанка, – что в эмиграции великий князь Дмитрий Павлович состоял на содержании у известной парижской модистки мадам Шанель – её мастерская, не помните? на улице Камбон. О, это была замечательная женщина! Знаете, что она ответила на вопрос, какие места следует душить её знаменитыми «Шанель № 5»? «Те, куда вы хотите, чтобы вас целовали». «Антон, выйди», – сказала бабка. Антон вышел, но из-за двери всё равно было слышно, что мадам Шанель добавила: «И там тоже». «Претензия у меня к ней только одна, – продолжала миссис Вильсон, – зачем она ввела в моду накладные плечи». А из-за двери доносился уже бабкин голос: «Избалованный безнравственной матерью...» Или – возмущалась она кем-то: «И говорит: у меня кулон от Фраже. Она, видимо, хотела сказать: от Фаберже. Впрочем, для этих людей всё едино – что Фраже, что Фаберже. Мало того что скулиста, как татарка, так ещё всегда и растрепе муа!»

Вспоминая, Антон будет поражаться той горячности, с которой бабка рассказывала о таких случаях, – гораздо большей, чем когда она говорила о масштабных ужасах эпохи. Когда она сталкивалась с подобной возмутительной мелочью, её покидала вся её воспитанность. Как-то в библиотеке, куда бабка по утрам носила внучке Ире банку молока, бабка, ожидая, пока та отпустит читателя, услышала, как он сказал: «Виктор Гюго». Бабка встала, выпрямилась и, гневно бросив: «Виктор Гюго!», повернулась и вышла, не попрощавшись. «И ещё грохнула дверью», – удивлялась Ира.

Самым сильным впечатлением от Москвы, которую бабка не видела пятьдесят лет, был разговор в метро двух мужчин.

– С виду интеллигентные. Один в очках похож на провизора. Другой в шляпе, при галстукке. Спорили, как ехать куда-то на автомобиле, съезжать с моста и делать какой-то левый поворот. Чуть не поссорились. Разговор извозчиков!..

Поскольку было ясно, что рано или поздно все должны попасть в лагерь или ссылку, живо обсуждался вопрос, кто лучше это переносит. Племянник графа Стенбок-Фермора, оттрубивший десять лет лагеря строгого режима на Балхаше, считал: белая кость. Казалось бы, просто-народью (он был второй человек, употреблявший это слово) тяжёлый труд привычней, – ан нет. Месяц-другой на общих – и доходяга. А наш брат держится. Сразу можно узнать – из кадетов или флотский, да даже из правоведов. Угадывалось это, по словам Стенбока, исключительно по осанке. По его теории выходило ещё, что они и страдали меньше: богатая внутренняя жизнь, было над чем поразмышлять, что вспомнить. А мужик, рабочий? Кроме своей деревни или цеха, и не видал ничего. Да даже и партиец-начальник: только-только хлебнул нормальной обеспеченной жизни – а его уже за зебры...

– Мужики вообще слабосильны, – вступала в разговор бабка. – Плохое питание, грязь, пьянство. Мой отец – потомственный дворянин, а был сильнее любого мужика, хоть физически работал только летом, в имении, да и лишь до того случая (случаем назывался роковой день, когда отец проиграл имение).

– Дед, а ты тоже из дворян? – спрашивал Антон.

– Из колокольных он дворян, – усмехалась бабка. – Из попов.

– Но зато отец деда был знаком с Игнатием Лукасевичем! – брякнул Антон. – Великим! Все развеселились. Лукасевича, изобретателя керосиновой лампы, действительно в 50-е годы прошлого века знал прадед Антона, о. Лев.

– Вот так! – смеялся отец. – Это вам не родство с Мари Склодовской-Кюри!

Мари Кюри, урождённая Склодовская, была троюродной сестрою бабки (урождённой Налочь-Длусской-Склодовской); бабка бывала в доме её родителей и даже жила там на ваканциях в одной комнате с Мари. Позже Антон пытался выспросить у бабки что-нибудь про открывательницу радия. Но та говорила только:

– Мари была странная девушка! Вышла замуж за этого старика Кюри!..

Англичанка рассказывала, какими сильными были английские джентльмены. В конторе какой-то шахты в Южной Африке всем предлагали поднять двумя пальцами небольшой золотой слиток. Поднявший получал его в подарок. Фокус был в том, что маленький на вид слиток весил двадцать фунтов. Рабочие-кайловщики, крепкие негры, пробовали – не выходило. Поднял, конечно, англичанин, мастер боксинга, настоящий джентльмен. Правда, не удержал, уронил и золота не получил. Но другие не смогли и этого.

– Дед бы поднял, – выпалил Антон. – Дед, почему ты не съездишь в Южную Африку?

Предложение всех надолго развеселило.

– Помещики были самые сильные? – интересовался Антон.

Бабка на секунду задумывалась.

– Пожалуй, попы. Посмотри на своего деда. А его братья! Да они что. Ты б видел своего прадеда, отца Льва! Богатырь! («Богатыри – не вы!» – подумал Антон.) Дед привёз меня в Мураванку, их имение, в сенокос. Отец Лев – на верху стога. Видел, как вершат стога? Один вверху, а снизу подают трое-четверо. Не успел, устал – завалят, навильники у всех приличные. Но отца Льва было не завалить – хоть полдюжины под стог ставь. Ещё и покрикивает: давай-давай!

После таких разговоров перед сном подходило бормотать стихи:

Села барыня в ландо  
И надела ротондо.



## 4. Четвёртая сибирская волна

Как быстро, безо всяких телефонов, распространяются здесь слухи. Уже на второй день стали приходить знакомые. Первой нанесла визит давняя подруга матери – Нина Ивановна, она же домашний врач. Именно так она рекомендовалась, бывая проездом в Москве: «Алло, Антон! Говорит твой домашний врач». Почему – было неясно. В детстве Антон не болел ничем и никогда – ни корью или скарлатиной, ни простудой, хотя начинал бегать босиком ещё в апреле, по весенней грязи, а кончал – по осенней, октябрьской; в мае купался с Васькой Гагиным в Озере, цепляясь за ещё плавающие голубые льдины. Его двоюродные сёстры и братья болели коклюшем, кашляя так, что кровью заплывали белки глаз, и свинкой – он не заразился, хотя подъедал за ними молочную манную кашу с вареньем, которую им было трудно глотать из-за распухшего горла. Даже оспа почему-то у него не прививалась; на третий раз медсестра сказала, что больше не будет на этого странного ребёнка переводить дефицитную вакцину. «У тебя надёжная примета в случае чего, – сказал как-то сосед Толя, оперативник. – Отсутствие оспины на руке, редкое в твоём поколении». – «В случае чего?» – «А в случае необходимости опознания трупа». Антон и взрослым никогда не хворал, и первая жена, часто недомогавшая, в том его упрекала: «Ты не в состоянии понять больного человека».

В Чебачьем Нина Ивановна была человек известный: боролась за мытьё рук перед едой, против антигигиенического целования икон, выступала по местному радио, чтобы дети не ели стручки акаций и заячью капусту и не сосали глину. Когда маленький соседский сын, наевшись сладких плодов белены, помер, устроила в детской консультации щит, куда дед приклеил высушенный по всем гербарным правилам и выглядевший, как живой, куст, под которым мама красиво-зловещим шрифтом написала чёрною тушью: «Белена – яд!!!» Две медсестры несколько дней обходили все огороды, заставляя хозяев выпалывать ядовитое растение.

Пили редкостный напиток – индийский чай со слоном, Нине Ивановне его дарили бывшие пациенты. Вспомнили её бедную дочь. После войны Нина Ивановна уехала ненадолго в Москву – что-то решать с бывшим мужем. Десятилетняя Инна занозила ногу, начался сепсис, без Нины Ивановны не достали редкий тогда пенициллин. Нина Ивановна всегда носила с собою её фотографию – в гробу. Посмотрели фотографию.

Во время войны Нина Ивановна как педиатр была прикреплена к Копай-городу: там, в трёх километрах от Чебачинска, разместили чеченцев и ингушей – спецпереселенцев (депортированными их тогда не называли).

...Холодный февральский день сорок четвёртого года. Я стою во дворе, у калитки. По улице движется нескончаемый обоз. Это – чечены. Мне мешает смотреть штaketник калитки, но я боюсь выйти на улицу, потому что про чеченов всё знаю – по колыбельной, которую мне перед сном поёт бабка: «Злой чечен ползёт на берег, точит свой кинжал». Надо мной смеются, но через несколько месяцев оказывается, что младенец был прав.

Одеты они совсем не по погоде – в какие-то лёгкие куртки с нашитыми как бы трубками, обуты в тонкие, как чулки, сапожки.

– В этих сапожках и черкесках только лезгинку танцевать, – сердито говорит подошедший сзади дед, – а не ездить в минус тридцать пять с северным ветром.

Про погоду дед знает всё – он начальник и единственный сотрудник метеопункта, который располагается у нас же во дворе; дед бродит между приборами, смотрит в небо и четыре раза в сутки передаёт сведения в область, долго крутит ручку телефона, висящего на стене в кухне.

Мне сразу становится холодно, хотя одет я в тёплую обезьянью дошку и меховую шапку, поверх которой натянут ещё башлык-будённовка, и крест-накрест обвязан шерстяной шалью.

Чеченов и ингушей выгрузили в голой степи, они нарыли себе землянок-нор – Копай-город. Рассказы Нины Ивановны о жизни в выдолбленных в мёрзлом грунте и накрытых жердями землянках, где по утрам в зыбках находили младенцев с инеем на щеках, были страшны. В первые же дни новосёлы образовали кладбище – за два-три года оно сравнялось с местным, которому было сорок лет.

Разъяснениям НКВД, что чеченцы и ингуши все поголовно сотрудничали с немцами, чебачинцы, ссыльных повидавшие, не верили и поначалу к спецпереселенцам относились сочувственно, давали лопаты, носилки, вёдра, детям – молоко. Но отношение быстро стало ухудшаться. Началось с мелкого воровства: у соседей в огороде кто-то выкопал ночью лук. Решили: чеченцы, раньше такого не бывало, а они, известно, без лука жить не могут. Чеченские нищие были странные: не просили, а угрожали: «Дай хлеб, а то бельё брошу с верёвки». У бабки на базаре отстегнули старую огромную медную английскую булавку, которую она очень дорожила – таких теперь не делают, а она скалывала ею концы пледа в мороз. «Будут они такими пустяками заниматься, – сердился дед. – Вот если б корову украли – это да». И как накликал. Вскоре поползли слухи: в Батмашке ингуши разбили стайку и угнали овец, в Успенно-Юрьевке днём обчистили квартиру – взяли, что легко было унести – даже ложки и тазы. Их ловили, но за мелкое воровство не судили. Но вот в Котуркуле свели корову, потом в Жабках – ещё одну. Лесник в Джаламбете встретил грабителей с ружьём – его застрелили из этого ружья. В том же Джаламбете увели двух коров и убили их хозяина. Страхи нарастали.

Рассказывали, что под Степняком вырезали целую семью. Воровство в Чебачинске бывало и раньше, но чеченцы показали, что такое настоящий горский разбой; по дворам поползло – «абреки», откуда-то не очень образованные чебачинские казаки знали это слово.

Самый большой конфликт с чеченцами возник года через два после войны. Чеченские парни не хотели, чтоб их девица встречалась с русским трактористом Васей, который пахал недалеко от Копай-города. Она сама бегала в поле, но чеченцы не сказали ей ни слова, а пошли напрямик к трактористу. Двухметровый богатырь Вася, про которого говорили, что кулак у него с тыкву, послал их, завязалась драка, троим он мурсалки размазал, но их было пятеро, и вскоре Вася уже лежал и охал возле гусениц. Его друзья, работавшие невдалеке, двинулись на своих машинах боевым строем, как в фильме «Трактористы», на Копай-город и сровняли с землёй две крайние землянки и землебитный домик. Чеченцы как-то быстро, без шума, собрались возле магазина, у всех на поясах кинжалы, и молча двинулись на трактора. И быть бы большой крови, но, по счастью, в магазине оказался мамин ученик Хныкин, бывший командир разведроты. Хныкин не боялся никого и ничего. Он стал перед гусеницами переднего трактора – и остановил. Потом медленно пошёл через улицу прямо на чеченцев.

– У них правая рука на кинжале, – рассказывал он маме, – а у меня – в кармане.

– А там что?

– А ничего. Но они хоть и абреки, а простоваты. Да и представить не могли, что в такую толпу идёт безоружный. Тем более в офицерском кителе.

– Что ж ты им сказал?

– Вам Казахстана мало? – говорю. – На Колыму захотели? – главное, спокойно эдак говорю, тихо, как бы сквозь зубы так. – Где старейшины? – Поговорил с двумя, молодой переводил. Те сказали что-то, каждый буквально по два слова. Все повернулись молча и ушли. Ну а я – к нашим ребятам, уговаривать. Василий помог – явился, оклемавшись. Зла на них, толкует, не держу. Любовь – дело сурьёзное. Я тоже троим сопатки их абрекские погладил, только хрустели... Добродушный он, Вася.

Говорили, что в банде Бибикова, отличавшейся особой жестокостью, состояли в основном чеченцы. Потом выяснилось, что нерусских там вообще было только двое: белорус, приехавший с Петей-партизаном и тоже партизан, и один молодой ингуш.

Про Бибикова Антон вспомнил, когда пришла его одноклассница Аля и они пили чай – она тоже принесла со слоном. Аля стала очень похожа на свою покойную мать, – особенно теперь, во столько же лет, сколько было той, когда Антон увидел её мёртвой.

...После школы прибежал Васька Гагин: «Айда за речку! Зарезанную смотреть! Гад буду! Хрест на пузо!»

Мать Али лежала на дне телеги, её голова была страшно запрокинута, вместо горла зиял кровавый провал. Стайка ребят стояла поодаль; все молча, зачарованно глядели в телегу.

Учительница Тальникова в день зарплаты возвращалась поздно вечером в своё село. В первом перелеске дорогу её лошади – по древнему разбойничьему обычаю – перегородили несколько мужчин. Отобрали покупки, сумочку с деньгами. И уже было отпустили, но учительница вдруг узнала главаря – своего бывшего ученика: «Бибиков! И тебе не стыдно, Бибиков?» Да, это была банда Бибикова, бывшего разведчика, кавалера орденов Славы и Красной Звезды, которую вот уже полгода ловила вся местная милиция. В разведроту Бибиков был специалистом по бесшумному снятию часовых («финочкой, исключительно финочкой!»). На суде Бибиков мрачно буркнул: «Сама виновата. Кто за язык тянул?»

Дед нашёл в энциклопедии, что чеченцев – полмиллиона, и с карандашом в руках высчитал, сколько сотен эшелонов надо было оторвать от военных перевозок, чтобы их вывезти. «К вам, Леонид Львович, – говорил отец, – только одна просьба. Не делитесь, прошу вас, ни с кем результатами ваших выкладок. Ведь Шаповалов уже не работает в нашем НКВД». Отец намекал на то, что его уже вызывали в эту организацию по поводу пораженческих высказываний деда. Но материалы попали тогда в руки бывшего дедова ученика, и пока что всё обошлось.

Чеченцы были последней из волн ссыльнопоселенцев, с начала тридцатых годов накачивавших на Чебачинск. Первой были кулаки из Сальских степей. Наслышанные об ужасах холодной Сибири и тайги, они после своих супесей и суглинков шалели от полуметрового казахстанского чернозёма и дармового соснового леса. Скоро все они обстроились добротными пятистенками с глухими бревенчатыми заплотами на сибирский манер, завели обширные огороды, коров, свиней и через четыре-пять лет зажили богаче местных.

– Что вы хотите, – говорил дед, – цвет крестьянства. Не могут не работать. Да как! Вон что про Кувычку рассказывают.

Старший сын старика Кувычки, рассказывал его сосед по воронежской деревне, когда, женившись, отделился, получил три лошади. Вставал затемно и пахал на Серой. Когда она к полудню уставала, впрягал в плуг Вороного, который пасся за межей. Ближе к вечеру приводили Чалого, на коем пахал дотемна. Через два года он уже считался кулаком.

– А чего же этот цвет в колхозе ни черта не делает? – подкалывал отец.

– А с какой стати? Кто такой кулак? – дед поворачивался к Антону, который всегда слушал, широко раскрыв глаза, не перебивая и не задавая вопросов, и дед любил адресоваться к нему. – Кто он такой? Работящий мужик. Крепкий. Недаром – кулак, – дед сжимал пальцы в кулак так, что белели косточки. – Непьющий. И сыновья непьющие. И жён взяли из работящих семей. А бедняк кто? Лентяй. Сам пьёт, отец пил. Бедняк – в кабаке, кулак – на полосу, дотемна, до пота, да всей семьёй. Понятно, у него и коровы, и овцы, и не сивка, а полдюжины гладких коней, уже не соха, а плуг, железная борона, веялка, конные грабли. На таких деревня и стояла... А кто был в этих комбедах? Раскулачивал кто? Та же пьянь и голытьба. Придумали превосходно: имуществом раскулаченных распоряжается комбед. Не успеют телеги с ними за околицу выехать, как уже сундуки потрошат, перины тащат, самовары...

Дедова политэкономия была проста: государство грабит, присваивает всё. Неясно ему было только одно: куда оно это деваёт.

– Раньше владелец крохотной овбошенной лавки кормился сам, кормил большую семью. А тут все магазины, универмаги, внешняя торговля – принадлежат государству. Огромный оборот! Где, где это всё?

В роскошную жизнь членов ЦК он не верил или не придавал ей значения.

– Сколько их? Ну даже если каждый со всеми своими дачами стоит миллион – что вряд ли, – это же мелочь.

С начала тридцатых в Чебачинск начали поступать политические. Самый первый был Борис Григорьевич Гройдо, заместитель Сталина по национальным вопросам, – его имя Антон потом нашёл в красной Большой советской энциклопедии. Гройдо считал: ему очень повезло, что его сослали так рано – через пять-шесть лет так легко уже бы не отделался.

Его жена, детская писательница и педагог Лесная, придумала пионерлагерь «Артек». Лагерь построили, она написала про него книжку, туда ездили дети деятелей Коминтерна. Но в середине тридцатых кто-то вдруг решил, что «Артек» устроен по буржуазному принципу – коттеджи, белые катера, а не палатки и рюкзаки. Лесную как идеолога такой структуры выслали в Казахстан. «Артек» меж тем продолжал функционировать по буржуазному принципу, туда приезжали дети антифашистов, потом большая партия испанских детей; построили новые белые корпуса.

И тут Гройдо повезло во второй раз – его жену выслали в тот же город, где жил он, – в Чебачинск. Никто не верил, что это вышло случайно, – говорили про его старые связи с Дзержинским – Менжинским – Вышинским.

После убийства Кирова из Ленинграда поступило несколько дворян, появились Воейковы и Свечины. Были привлечённые по Шахтинскому делу, платоновскому, делу славистов, попадались изгнанцы единичные, не групповики, – музыканты, шахматисты, художники-оформители, актёры, сценаристы, журналисты, неудачно сострившие эстрадные юмористы, стали присылать любителей рассказывать анекдоты.

С Дальнего Востока привезли корейцев. Перед войной стали поступать те, кто уже отбыл три или пять лет лагерей и получил ещё пять или десять «по рогам» – поражения в правах, ссылку. Ссылнопоселенцы с первых дней бывали буквально потрясены: они попадали в курортное место; их окружала Казахская складчатая страна: миллион гектаров леса, десять озёр, прекрасный климат. О качестве этого климата говорило то, что возле озёр расположилось несколько туберкулёзных санаториев; известный фтизиатр профессор Халло, тоже ссыльный, с удивлением обнаружил, что результаты лечения туберкулёзных больных в санаториях «Боровое» и «Лесное» выше, чем на знаменитых швейцарских курортах. Правда, он считал, что в равной степени дело тут и в кумысолечении – косяки кумысных кобылиц паслись рядом. Кумыс был дешёв, продукты тоже; ссыльные отъедались и поправляли здоровье.

Профессор Троицкий, ученик Семёнова-Тянь-Шанского, утверждал, что знает, как это произошло: чиновник, который составлял документ, распределявший потоки ссыльных, плохо посмотрел на карту, решив, что Чебачинск – в голой степи. Но Чебачинский район был узким языком, которым горы, лес, Сибирь последний раз протягивались в Степь. Она начиналась в полутора-два километрах, на карте неспециалисту это было не понять. А до самой Степи раскинулся райский уголок, курорт, казахская Швейцария. Когда Антон студентом попал на Рицу, то страшно удивился её славе: таких голубых горно-лесных озёр возле Чебачинска было штук пять, не меньше, только они по причине почти полного безлюдья были лучше.

Перед войной поступила латышская интеллигенция и поляки, уже в войну – немцы Поволжья. Чебачинцы верили слуху, что, когда НКВД выбросил там ночью парашютистов, переодетых в фашистскую форму, местные немцы всех попрятали. Но депортированные рассказали, что не было и самого десанта. Немцы устроились лучше, чем чеченцы: им разрешили почему-то захватить кое-какие вещи (до 200 килограмм на человека), среди них были плотники, кузнецы, колбасники, портные (чеченцы не умели ничего). Много было интеллигенции, которой разрешалось преподавать (кроме общественно-политических дисциплин). Математику у Антона в классе одно время вёл доцент Ленинградского университета, литературу – доцент из Куйбышева, физкультуру – чемпион РСФСР по десятиборью среди юношей. Пре-

подавателем музыки в педучилище состоял бывший профессор Московской консерватории, в местных больницах и диспансерах работали ординаторы из Первой градской, больницы Склифосовского, ученики Спасокукоцкого и Филатова.

Но власти, видимо, считали, что Северный Казахстан интеллектуально всё ещё недоукомплектован: в Курорт Боровое, что в восемнадцати верстах от Чебачинска, в начале войны эвакуировали часть Академии наук: приехали Обручев, Зелинский.

Как-то отец читал академикам лекцию о Суворове. Антона он взял с собой – прокатиться в розвальнях на лошадке мохноногой по заснеженному лесу. За лекцию полагалось три килограмма муки. Возле маленького домика, где был академический распределитель, стояла небольшая, необычно молчаливая очередь. Отец отвёл Антона в сторону. «Видишь вон того старичка в круглых очках, с кошёлкой? – сказал он тихо. – Посмотри на него внимательно и постарайся запомнить. Это академик, великий учёный. Потом поймёшь». И назвал фамилию.

Я вытягивал шею и таращился изо всех сил. Старичок с кошёлкой и сейчас стоит у меня перед глазами. Как я благодарен за это отцу.

На первом курсе университета Антон узнал, кем был этот старичок, не спал по ночам от волнения при мыслях о ноосфере, от гордости за человеческий ум; за то, что такой человек жил в России; сочинял про этот эпизод плохие стихи: «Домишки. Очередь. Морозно. И казахстанский ветер адский. Отец сказал: „Навек запомни: вон тот с кошёлкою – Вернадский“».

Ходили разные слухи об академиках: один может висеть в воздухе, другой переплюнет любого работягу по части мата. Дед смеялся и не верил. Много позже Антон узнает, что великий буддолог академик Щербатской, умерший в Боровом, незадолго до смерти читал лекцию, где в числе прочего говорил о левитации; до августа сорок пятого в том же Боровом жил кораблестроитель академик Крылов – необыкновенный знаток русской обценной лексики (он считал, что подобные выражения у матросов английского торгового флота знамениты краткостью, но у русских моряков превосходят их выразительностью).

Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть нигде.

– Четвёртая культурная волна в Сибирь и русскую глухомань, – пересчитывал отец, загибая пальцы. – Декабристы, участники польского восстания, социал-демократы и прочие, и последняя, четвёртая – объединительная.

– Прекрасный способ повышения культуры, – иронизировал дед. – Типично наш. А я-то думаю: в чём причина высокого культурного уровня в России?

Отец и Гройдо спорили, откуда отсчитывать традицию высылки в Казахстан: с Достоевского или с Троцкого?

Из всех новых административных насельников интеллигенция, по наблюдениям Антона, ощущала себя наименее несчастной, хотя её положение было хуже, чем у кулаков, немцев или корейцев: она не знала ремёсел, земли, а служить в горисполкоме, райкоме, РОНО ссыльные права не имели. Но многие из них, как ни странно, совсем не считали свою жизнь погибшей, а скорей наоборот. Шахматист Егорычев, знаменитый в городке своим мощным тепличным и поливным огородничеством, а также как страстный книголюб, признавался Антону уже в глубокой старости – я счастлив, что меня отлучили от игры в бисер. Гройдо говорил: он рад, что порвалась цепь, сковывавшая его с этой колесницей.

Отец Антона, Пётр Иванович Стремоухов, был одним из немногих в городе интеллигентов, попавших в него по своей воле.

Его старший брат, Иван Иванович, организовал в 18-м году в подмосковном Царицыне одну из первых в России радиостанций и был её бессменным научно-техническим руководителем, главным инженером, директором и ещё кем-то. В 36-м году заместитель написал донос, что его начальник в 19-м году предоставил эфир врагу народа Троцкому. «Хотел бы я знать, – объяснял вызванный на Лубянку Иван Иванович, – каким образом я мог не дать эфир военмору

республики? Да меня и не спрашивал никто. Приехали на двух автомобилях – и всё». То ли донос был уж слишком бессмысленным, то ли времена ещё относительно мягкие, но Ивана Иваныча не посадили, а только уволили со всех постов.

Средний брат принадлежал когда-то к рабочей оппозиции, о чём честно писал во всех анкетах. В тридцать шестом его арестовали (он просидел семнадцать лет). Следующего брата уволили из института, где он преподавал, и уже дважды вызывали на Лубянку.

И тут отец сделал, как говорила мама, второй умный шаг в своей жизни (первый, понятно, был – женитьба на ней) – уехал из Москвы. Тогда говорили: НКВД найдёт везде. Отец понял: не найдёт. Не будут искать. Не смогут – слишком много дел в столице. И – исчез из поля зрения. Много раз говорил потом, что не может до сих пор взять в толк, как люди, вокруг которых уже пустота, уже замели начальников, заместителей, родственников, – почему они сидели и ждали, когда возьмут их, ждали, будучи жителями необъятной страны?..

Он завербовался на стройку социализма – возведение крупнейшего в стране мясокомбината в Семипалатинске, и не мешкая выехал туда вместе с беременной женой. Так Антон родился в Казахстане.

В 70-е годы Антон в юбилей Достоевского попал в Семипалатинск. В первый же день была экскурсия на знаменитый комбинат, где он увидел то, о чём в Чебачинске так мечтал боец скотобойни Бондаренко: убой скота электричеством. Огромных быков, получивших удар в пять тысяч вольт, подцепляли мощными крюками, и они плыли по конвейеру, где с них сразу, с шеи, начинали сдирать шкуру; обнажившиеся сине-розовые мышцы ещё трепетали и дёргались, а следующий съёмщик продолжал стягивать шкуру, как чулок, вниз; одной достоеведке стало плохо. Инженер-экскурсовод объяснил, что, конечно, можно три-четыре раза повторить электрошок, снижая напряжение последовательно до 500 вольт, тогда бык перестанет дёргаться и успокоится, именно так и поступают в Америке при работе с электрическим стулом, – но у нас более экономичная и прогрессивная технология. На фронте мясокомбината висел огромный кумачовый транспарант: «Я – реалист в высшем смысле. Ф. М. Достоевский».

Мама перевелась в местный институт, отец, хоть и окончил истфак МГУ, работал на комбинате преподавателем слесарного дела, которое знал с детства от своего отца и которому доучивал его великий мастер Иван Охлыстышев. Когда родился Антон, приехала бабка и забрала всех в Чебачинск – курортный город.

Так как историю и конституцию ссыльным преподавать не разрешалось, а отец был единственный в городе нессильный с высшим историческим образованием, он преподавал эти предметы во всех учебных заведениях Чебачинска – двух школах, горно-металлургическом техникуме, педучилище.

На фронт его не взяли из-за близорукости – минус семь (глаза он испортил в московском метро, где сварщики работали без щитков). Но когда немцы подходили к Москве, записался добровольцем, доехал до областного центра, где доформировывались части дивизии генерала Панфилова, и даже был зачислен на пулемётные курсы. Но на первой же медкомиссии майор медицинской службы с матерными ругательствами выгнал его из кабинета.

Вернувшись, отец отдал в фонд обороны всё, что скопил перед войной на своих трёх ставках. Дед, узнав об этом из местной газеты, такой шаг не одобрил, как и раньше – запись в добровольцы.

– Умирать за эту власть? С какой стати?

– При чём тут власть! – горячился отец. – За страну, за Россию!

– Пусть эта страна сначала выпустит своих узников. Да заодно отправит воевать столько же мордоворотов, которые их охраняют.

– Я вас считал патриотом, Леонид Львович.

Отец снова уехал в областной центр, с дедом не попрощавшись. Дед был спокоен и ровен, как всегда.

## 5. Клава и Валя

Увидев, как однажды вечером Антон гладит брюки, выбирает галстук, тётя Таня усмехнулась: «По старым адресам?» До этого по старым адресам он не ходил – как чувствовал: после первого же такого визита вся его размеренная провинциальная жизнь полетела в тартарары.

Валя была его второй первой любовью. Первой считалась Клава – любовь романтическая, с разорванными в мелкие клочки записками, которые полагалось составлять-склеивать по ночам, с цветами, бросаемыми в окно.

Это были целые экспедиции вдвоём с верным другом Петькой Змейко (верных друзей всегда зовут Петьками). Сначала, пока ещё не стемнело, полагалось с мрачным видом сделать две-три проходки между домами Клавы и Аси (Ася была той, чьи записки склеивал Петька). Путь предстоял не близкий – между пунктами по промерке шагами считалось километра три. Антон из природной словоохотливости порывался иногда заговорить, но Петька делал знак рукой: не надо, и суровые мужчины молчали.

Проходки эти были, однако ж, не совсем лишены прагматизма: по пути присматривался палисадник с подходящими кустами сирени. Сирень годилась не всякая. Во-первых, решительно не подходила сирень из собственного сада – это пошло. Во-вторых, чужая сирень тоже нужна не первая попавшаяся, а только самого высокого качества: персидская, белая, махровая, в которой много цветков с пятью лепестками, чтобы получившая могла их отыскивать и загадывать желания. В-третьих, сирени надо было много. Требования к букету предъявлялись жёсткие: еле-еле влезать в ведро.

К полуночи экспедиция завершалась, начиналось собственно действие. Огромные букеты туго обвязывались киперной лентой. Теперь каждый предстояло – нет, не оставить где-нибудь у порога или под окошком, – его следовало забросить непосредственно в комнату, чтобы *она*, открыв глаза, увидела букет первым из предметов окружающего мира и мучилась в догадках: откуда он взялся и от кого он? Конечно, к утру он мог и подзавять – и скорее всего; недурно б его доставить в сосуде с водой, но пока это было невыполнимо (хотя такой проект и обдумывался).

С Асей дело обстояло просто: существовала большая форточка, летом всегда открытая. С Клавой – сложнее: маленькие окошки её домика форточек не имели. Приходилось заточенной железкой, которую Петька небрежно именовал фомкой (сам он к этой операции не допускался), осторожно вскрывать створку окна. Забухшее окно долго не поддавалось – и вдруг распадалось со звуком распечатываемой бутылки; в глубине комнаты что-то белело, что-то угадывалось; именно потому нельзя было, чтобы это видел Петька; сердце начинало биться страшно, сильнее, чем при воровстве чужой сирени и вскрытии самого окна. («Воображение живо рисовало ему соблазнительные картины», – определял Антон.) Взмах – и букет с влажным шорохом летел туда, где... Минута была пиитическая, но от волнения Антон никак не мог подобрать подходящих строк и приходилось довольствоваться лишь близкими по теме: «Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередой с любовью лечь к её ногам!» Антон бы стоял и стоял, стоял и глядел, но это – слабость, надо было твёрдой рукой закрыть окно.

На другой день, в школе, никакие намёки, взгляды, конечно, не допускались, даже разговаривать с девочками в первые дни, показывал всем видом Петька, не полагалось.

Антон такие отношения очень утомляли, он начинал злиться на Петьку, на себя, на Асю – не на Клаву, а именно на Асю, может, из-за её наивно-безмятежного взора. Впрочем, было и другое. Наивная Ася очень умело, воспользовавшись отъездом родителей, организовала обучение танцам. Пригласили и третьего мушкетёра – Мишку, или Мята, для него тоже нашли даму (одноклассницу Инну, и, как потом выяснилось, именно её он бы и хотел, хотя никому об этом не сказал ни слова). Под патефон разучивали танго и вальс; из вальса выучили только



«раз-два-три», кружиться научиться не успели – Антон так и не выучился никогда. Девочки трогательно показывали, куда класть вторую руку. Некстати вспоминались слова бывшего царского офицера Твердаго: «Даму надо держать за талию плоской, а не согнутой, не обнимающей ладонью! В моё время те, кто этого не соблюдал, удалялись из танцевального зала!» Недавно Антон, после диссертационного банкета в ресторанной гостинице, несколько минут простоял у входа в тамошнюю дискотеку. Неужели эти девочки, у которых, как говорил покойный Балтер, в каждом глазу по два аборта, того же возраста, что их с Петькой тогдашние подруги? «Как и все немолодые люди, – сказал внутренний голос, – он идеализировал время своей юности».

С Вале́й всё было иначе, проще. Когда на моей парте освободилось место, она, не смущаясь, попросилась у классной руководительницы: «Можно, я с Антоном сяду?» Она была старше на три года, весёлая, увидев, что у меня болтается пуговица на куртке, тут же на переменке её пришила и на мгновение архетипически прижалась, перекусывая нитку. Не отодвигалась, когда наши колени под партой оказывались слишком близко.

Однажды я ей подарил букетик сирени – совсем небольшой, она зарылась в него лицом, потом подняла голову, глаза были полужакрыты. «Пьянящий запах сирени», – сформулировал Антон поспешно.

В первые свои студенческие каникулы Антон приехал в Чебачинск победителем, студентом Московского университета – вопреки всем советам туда поступать даже не пробовать; он черпал славу полными горстями. На школьном историческом кружке сделал доклад о Геродоте, ему выдали билет почётного члена кружка – как «первому из его членов и выпускников Чебачинской средней школы, поступившему на исторический факультет Московского университета и успешно в нём обучающемуся».

Мечты осуществлялись. С раннего детства Антона восхищали дедовы карманные швейцарские часы «лонжин» с щёлкающей крышкой и календарём, которые он купил во время русско-японской войны у одного офицера; за пятьдесят лет они отстали на одну минуту. Дед обещал их подарить, если внук хорошо окончит школу. Антон окончил с золотой медалью. «В этой деревне быть первым не штука, – сказал дед. – Ты поступи в университет». Антон поступил. «Поступить – не штука, – сказал дед. – А вот дальше?» Первый семестр внук сдал на пятёрки. Дед вздохнул, отстегнул цепочку и решительным жестом протянул часы: «Владей». (Счастье было, как у Френсиса Макомбера, недолгим: через полгода Антон уронил часы на кафельный пол в Сандуновских банях, погнулась ось, и никто не брался выточить новую.)

Мечты осуществлялись. Валя была в городе, она ездила куда-то, но не поступила. Пришла на его доклад, он провожал её, она говорила: «Я всегда верила в тебя. Больше, чем во всех». Он долго целовал её, прижимая к шаткому плетню, мороз был под тридцать, он чуть не заболел, заболела она, несколько дней пролежала в постели. Он приходил, сидел; она была вся горячая. Как он жалел, что температура не у него, чтобы стало можно подумать: «Она положила свою бледную руку на его воспалённый лоб».

И только за два дня до его отъезда она стала вставать и ходить в халатике, на котором, конечно, была только одна пуговица.

Вечером, умываясь, Антон по детской привычке глянул в серебристо-зеркальный бок старинного дедова рукомойника. Губы были какие-то странные, – видимо, их искажал круглый бок. Антон посмотрел в мамино зеркало. Губы были похожи на красные бабкины подушечки для иголок. Он лёг спать, присвоив себе фамилию Губастьев.

## 6. Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег?

Антон выговорил право кормить деда обедом. Уставя поднос тарелками, он прошёл в дедов покой. Дед лежал высоко на подушках.

– Как здоровье? О чём думаешь?

Это был дедов вопрос, начинать с него не стоило. Доктор Нина Ивановна пеняла: «Ты, Антон, всегда находишь темы, которые Леонида Львовича волнуют».

Дед ответил:

– Испохабили всё – начиная со Святых Апостолов и кончая бессловесными зверьми.

На одеяле лежала привезённая Антоном московская газета. В «Репертуаре театров» красным карандашом было подчёркнуто название: «Затюканный апостол», а в рубрике «Окно в природу» – «Медвежий колхоз». Чтоб переменить разговор, Антон стал пододвигать столичные лакомства. Раньше дед поесть любил, в семье остряли: готовь бабка хуже, он никогда бы на ней не женился. Но теперь дед смотрел равнодушно на осетрину с бужениной, не произнёс «подай мне тельца упитана», а сказал:

– Я уже не хочу ни есть, ни спать, ни жить. Ведь что есть жизнь? Познание Бога, людей, искусства. От богопознания я далёк так же, как восемьдесят лет назад, когда отроком поступил в семинарию. Людей – тут никто не знает ничего, двадцатый век это доказал. Искусство – я читал Чехова, Бунина, я слышал Шаляпина. Что вы можете предложить мне равноценного?

– А театр? Театр двадцатого века? – пошёл в наступление Антон, держа в резерве МХАТ, который дед любил, был на премьере «Вишнёвого сада». Но резервы вводить не пришлось – дед с порога отверг театр как таковой.

– Что театр? Площадное искусство. Подчинено зрелищности, подмосткам. Насколько Гоголь грубее в «Ревизоре», чем в «Мёртвых душах»! И даже Чехов – уж такой тонкий по сравнению со всеми драматург – насколько примитивнее в пьесах, чем в рассказах.

– Дед, но ты же не станешь отрицать кино.

– Не стану. Немое. Оно почти выбилось в высокое искусство. Но явился звук. А потом и цвет! И всё было кончено – восторжествовала площадность.

– А Эйзенштейн? – его последние фильмы были единственными, которые дед видел после двадцатых годов, сделав для них исключение. (Этому будто бы предшествовал такой разговор. Бабка просит его посетить вместе кинотеатр. Дед: «Мы же были в кинотеатре». – «Конечно, но теперь там идут звуковые фильмы!»)

– Эйзенштейн? Всё у него лучшее, кадры, которые ты сам мне показывал, как он сперва их рисовал, – от немного кино. Да что о нём говорить, – когда во всей фильме «Александр Невский» никто ни разу не перекрестился!

– Разве? Я как-то не обратил...

– Разумеется. Вы этого не замечаете. Великий князь, Святой благоверный князь Александр Невский перед битвой не кладёт крестного знамения! Господи, прости, – дед перекрестился.

– Может, режиссёру запретили.

– А что ж ему в «Иване Грозном» церковную службу при коронации – всё начало фильма – не запретили? Нет, тут другое: там ему самому, вашему великому режиссёру, это и в голову не пришло.

Антон хотел сказать, что с середины и в конце войны к этому отношению было уже другое, но дед по пятилеткам не мерил, для него все годы после семнадцатого были одноцветным советским временем, оттенки его не занимали.

«Как и все люди прошлого века...» – начинал формулировать Антон. Да, прошлого, прошлого века.

Он отправлялся бродить по городу. Разговоры с дедом почему-то чаще всего наталкивали на тему, которую Антон озаглавливал «О тщете исторической науки». Что может твоя наука, историк Стремоухов? Пугачёвский бунт мы представляем по «Капитанской дочке». Ты занимался Пугачёвым как историк. Много изменили в твоём ощущении эпохи её документы? Будь откровенен. И пояись ещё куча исследований – уточняющих, опровергающих, – пугачёвщина в сознании нации навсегда останется такою, какой изображена в этой повестушке. А война 1812 года? Всегда и во веки веков она пребудет той, которая разворачивается на страницах «Войны и мира», несмотря на десятки фактических ошибок романа. И сколько здесь от случая. Допиши Пушкин «Арапа», мы бы и Петра знали по нему. (Впрочем, даже и так знаем.) Почему? Историческое бытие человека – жизнь во всём её охвате; историческая же наука давно разбилась на истории царствований, формаций, революций, философских учений, историю материальной культуры. Ни в одном научном сочинении человек не дан в скрещении всего этого – а ведь именно в таком перекрестье он пребывает в каждый момент своего существования. И сквозь этот прицел его видит только писатель.

Так было всегда, когда Антон уходил от деда, – диалог с ним продолжался, и Антон не глядел по сторонам.

Но город постепенно завладевал им.

Русская провинция! Как периферия литературная – иллюстрированный журнал, газета, малая пресса всегда была холодильником жанров, не сохранившихся в большой литературе, – романтической повести, физиологического очерка, мелодрамы, – так периферия географическая, русская провинция сохранила семейное чтение вслух, лоскутные одеяла, рукописные альбомы со стихами от Марлинского до Мережковского, письма на десяти страницах, обеды под липами, старинные романсы, фикусы в кадках, вышивки гладью, фотографии в рамках и застольное пенье хором.

Область русского поселения – цепочка казачьих станиц, укреплений, выселков, пикетов – шла по всей северной, кромковой части казахской степи от Иртыша до Урала, от Омска до Оренбурга: Кольцовская, Некрасово, Суриковская, Гаршино. Но Омское переселенческое управление циркулярно распорядилось: новые посёлки именовать в честь героев русской истории. Появились станицы Суворовская, Кутузовская, Кузьма-Крюково (в первую германскую). Перед отечественной войной административно войдя в Казахстан, Чебачинск остался русской, казачьей сибирской провинцией. Когда местная газета «Социалистический труд», выходившая раз в неделю в формате развёрнутой школьной тетради, в передовице упомянула о переписи населения 1939 года, по которой в городе оказалось 8 % казахов, то редактора Улыбченко за политическую близорукость в понимании задач национальной политики перевели в корректуры (на этой должности, сильно потеряв в зарплате, он и продолжал почти единолично до самой войны делать газету). Местные жители восприняли это как наказание за очковтирательство: и такого процента в городе никто не наблюдал, казахов с их верблюдами и низкорослыми лошадами видели только на базаре да – в кителях-сталинках – в кабинетах исполкома (в райкоме партии были уже русские). Казахские дома стояли только на нечётном порядке крайней улицы, глядящей в Степь. Постоянного названия она не имела: таблички «Улица Амангельды» то вешали, то снимали – в зависимости от того, кем считался Амангельды Иманов. Если по радио передавали песню: «Запевайте, горы Ала-Тау, и снега, и льды. Добывать идём в бою мы славу, как Амангельды» – это означало, что он герой освободительной борьбы, и таблички висели, но когда её передавать переставали, значит он опять становился буржуазным националистом, и таблички снимали.

Село Чебачьё, село казачье, в городское звание возвели ещё до войны, но только теперь поселение стало этому званию соответствовать: из центра исчезли огороды, появились запоздалые хрущёвские пятиэтажки. Тогда, после войны, двухэтажной была только школа, построенная ещё купцом Сапоговым, да несколько домов на станции. Они считались достоприме-

чательностью; объясняя дорогу, махали рукою вдаль и вверх: там, за высокими домами. Все остальные были не дома – избы. Полвека для них не возраст, а если изба ставлена на фундаменте – вообще детство. Рубили их из сибирской корабельной сосны (её так здесь не называли, а лес-бревенчак, избяной).

Лес заготавливали зимою, в апреле ставился сруб, в котором точно пригнанные брёвна медленно и равномерно высыхали, их не вело и не кособочило. Угол всегда рубили в обло с остатком – в лапу считалось недолговечно. Железная крыша роскошь, крыли тёсом. Антон застал ещё пилку досок вручную. Бревно клалось на огромные, выше человеческого роста козлы, пилили особой тяжёлой широкой и длинной пилой, один пильщик стоял наверху, другой – внизу. И там и там работа была адова. Кровля делалась безгвоздой – доски упирались в долблённые полубрёвна-желоба и пригнетались тяжёлым бревном-охлупнем. К избе примыкал высокий полубревенчатый или даже из целикового кругляка заплот (жердяных не ставили) с глухими воротами из досок в ёлочку и с двускатным козырьком.

С трудом узнавались места – по тополям, которые школа высаживала на воскресниках. Саженьцы обгрызали козы, ломали коровы, но мы сажали их снова, они опять гибли, мы сажали опять и опять, и козы сдавались, и уже не верилось, что те слабые прутики стали могучими деревьями, что эти могучие деревья были теми слабыми прутиками.

Здесь стояла хибарка Усти, вросшая в землю, с подпёртой колыями стеной. Бедных было много – семьи без вести пропавших и не получавших ни аттестата, ни пособия, многодетные ссыльные немцы. На медосмотре врач, осмотрев Антонова одноклассника Ленау, по которому можно было изучать основные кости человеческого скелета, спросил: «Питание дома – только картошка?» Но Устя была самая бедная («наготствует», говорил дед). Работала она в колхозе, на трудодни не давали почти ничего. Её сын Шурка школу посещал только до морозов – каждый год всё тот же второй класс. Ходил он с большой торбой из серого грубого холста, за что над ним смеялись (много позже точно такую торбу Антон видел в нью-йоркском универмаге, стоила она двадцать долларов, и холст был гораздо хуже). Мать Антона отдала им детские валенки, мало ношенные, но Устя, чтоб не есть одну картошку, променяла их на капусту.

На месте домишки Усти стояла панельная пятиэтажка. Когда я уходил из переулка, пятиэтажка расплылась и растаяла; её место опять и навсегда заняла похилившаяся хибарка Усти.

Антон делал крюк к Набережной, где прожил первые шестнадцать лет своей жизни. Улица весной и осенью была грязновата. У всех была мечта: резиновые сапоги. Рассказывали, что у Лёньки-станциря были такие сапоги, будто как бы зеленоватые, литые, но в глаза их никто не видел. Там, где было повыше, на лужайках перед домами рано вылезала чистая шелковистая травка-конотопка, на ней лежали по выходным и взрослые, и даже белые рубахи не зеленились. Автомобили не проезжали, подводы – редко, чаще всего – казахов. Весной подле каждой степной низкорослой кобылки бежал длинноногий жеребёнок, а то и второй – уже стригунок, его брали, чтоб не дичал, привыкал, заодно и проминался.

А тут был пустырь, где часами бродили, отыскивая всякие *кидыши*, но прежде всего *стеколки*, *битушки* – осколки посуды и, если повезёт, – золочёную ручку чашки или краешек тарелки с цветным ободком. Как скуден был вещный мир их детства. Кукла – одна, две – уже редкость. Ходила легенда про куклу сестры того же Лёньки-станциря, с закрывающимися глазами и говорящую «мама», – этому не очень верили. Дома можно было сказать: пойду к машине, и все знали, что к Кольке, потому что только у него был игрушечный грузовичок, как все любили эту деревянную машинку.

Под косогором текла речка, без названия: просто Речка. Она была мелкая: воробычке по...чке, воробыю по яицы, но зато идеально подходила для ловли бреднем: за час набраживали полный кошель. Купаться можно было только у плотины, на Берёзке, где глубенело сразу; над водой там нависал мощный берёзовый пенёк, первое острое сожаленье о безвозвратном прошлом: какие счастливицы были те, кто застал саму берёзу, каково с неё нырялось! Как она

росла? Вверх? Наклонно? Хотелось, чтоб наклонно, нависно. Над водой деревья всегда так растут. Грустные ивы склонились к пруду. Что ты, ива, над водами. Конечно, берёза нависала! И достигала середины Речки, и, прыгнув оттуда, *они* свободно доныривали до того берега. И у какого мерзавца поднялась на неё рука?.. Вода у берега, на мелководье, тёплая, хорошая, называлась керенская, на середине, в омуте, холодная – колхозная. Что такое керенская, никто не знал, но почему колхозная – мы понимали очень хорошо. К середине лета с краю появлялась первая зазелень, к концу лета протягивалась и к середине; Корма, приходя купаться, заталкивал в воду малышню её разгонять.

Не было погожего летнего дня, чтоб на Берёзке не купались Васька Гагин, Юрка Бутаков, Кемпель, Лёка Ишкинов; из воды не вылезали часами. Но Антон иногда, наскоро окунувшись, убегал навестить Вальку Шелепова, который выше по речке, где уже не было огородов, пас телёнка. Пас ежегодно, ежедневно, все три месяца летних каникул. Только одно лето оказалось свободным: очередной телёнок обожрался белены и сдох. Васька Гагин на следующее лето предлагал ситуацию повторить и обещал найти самой нежной, вкусной и верной белены. (Сам Васька, когда на него оставляли годовалую Катьку, немедленно поил её размешанным в молоке молодым маком, и девка спала как мёртвая, к удивленью матери, до вечера.) Но Валька боялся: отец сказал, что убьёт, если он и теперь не уследит. И Валька следил и на речку только глядел сверху. Большого мученья Антон, полоскавшийся в воде, как утка, целыми днями, представить себе не мог, поэтому и сидел с бедным Валькой на косогоре, а когда особенно зноило, в душном коноплянике – единственном укрытии от солнца: берега были бестенные, хотя, судя по пням, деревья тут росли, но какие-то вредители их вырубали. Спустя много лет, когда Антон был на конгрессе по истории бывшего Советского Союза в Амстердаме, во всех кафе его два дня преследовал сладковатый запах, мучительно что-то напоминавший. На третий, когда ему сказали, что тут легализовано курение марихуаны, он вспомнил: то был запах разогретого солнцем конопляника над Речкой. От запаха кружилась голова. Старший брат Вальки Генша, побывший тут недолго, сказал, что надо как-нибудь затащить сюда Люську – полчаса посидит, сама даст. Ближе к воде рос какой-то особенно влипчивый репейник – от рубашки не отодрать, а когда его тебе закатают в волосы – только выстричь. На пролысинах конопляника росли калачики – маленькие сладковатые плоды какого-то круглолистого растения – потом Антон никак не мог его ни найти, ни хотя бы узнать, как оно называется. Вид не мог внезапно исчезнуть из целой местности – но он исчез. Сразу же за Речкой во множестве росла полынь – разных видов. Дома у Антона веником из одной полыни подметали сени, из другой – комнаты, третья просто висела под иконами и пахла. На берегу можно было набрать *сосовой* глины – серой, маслянистой, вкусной. Ели, запивая водой из речки. Никаких неприятностей от этого не происходило.

Всё остальное время Антон что-нибудь рассказывал: читать Вальке было запрещено, так как телёнок погиб из-за «Робинзона Крузо». Сначала Антон дорассказал про недочитанного Робинзона, потом на основе этого сюжета стал излагать придуманные им самим приключения мальчишек, оказавшихся на необитаемых островах на Байкале, Онежском и Ладожском озёрах, в Аральском море и Северном Ледовитом океане. Называлось: Сказка. Сказка была с продолженьями, которые Антон рассказывал Вальке уже осенью, на их сеновале, а зимой – в избе. Антон входил, Валька уже ждал.

– Или, – возглашал Антон, – у броненосцев на рейде...

– Ступлены острые кили? – должен был отвечать-спрашивать друг. Паролей было несколько.

– Мир уснул, – говорил в следующий раз Антон, – но дух живой...

– Движет небом и землёй, – продолжал обученный Валька.

– Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег? – Антон вворачивал и что-нибудь новенькое.

– Левиафана? Запросто, – отвечал находчивый Валька. – А кто это такой?

Залезали на печь, под мягкий волчий тулуп, начиналось продолжение Сказки. Герой вырастал, с острова съезжал, женился, у него рождался сын. Он также довольно рано попадал на необитаемый остров, где проводил, конечно, не двадцать восемь лет, как Робинзон, но тоже значительную часть жизни, пока не вырастал и становился неинтересен.

Пройдя берегом плотины, Антон по тропке стал подниматься вверх. Как всегда, когда приходилось идти в гору, подмывало на полубег – шагом медленно и скучно. Навстречу шла пожилая женщина. «Скажите, который час?» Антон сначала не понял, что в её голосе странно, но потом увидел: на глазах слёзы. Она без всяких предисловий, не стыдясь, заговорила:

– Издалека гляжу – ну точно брат мой Ваня. Он на фронте погиб. Тоже высокий. Такие ходят – переваливаются. А он в гору, вот как вы, всегда побежкой, быстро. Увидела – ну точно он, не сдержалась, видите, плачу.

Антон опять спустился к Речке. За тридцать лет она сильно затиневела, но перед плотинной зеркало было чистое, как раньше. В сливе по колено в воде копошился мужик с опухшим лицом, подставляя ладонь под струйки, бывшие из тела плотины, – видимо, изучал водоклёв.

– Не узнаёшь, москвич?

– А, Фёдор! Богатым быть.

– И так уж богаче некуда, опохмелиться не на... я. Как в анекдоте. Подходит Пушкин к магазину...

Русская провинция. Что может быть тупее её анекдотов про Пушкина, про Крылова, про композиторов: поел Мясковского, запил Чайковским, сел, образовалась Могучая кучка, достал Листа...

На бровке речного оврага стояла электростанция, построенная на месте старого движка. Движок сгорел. Работал он на мазуте, годовой запас которого хранился тут же и которым давно до маслянистой черноты пропитались обшитые фанерой бревенчатые стены. Пламя было до неба, собралась толпа, но тушить такое своими силами никому и в голову не приходило. Когда огонь слегка поутих, приехали с песком и огнетушителями пожарные – на быках. Пожаров было много. «Надо же, – говорил тамбовец Егорычев, – Казахстан, не тесно, а полыхает – как в центральной России». Горели дома, сарай, стога сена, школа, пекарня, детприёмник. Но этот пожар был самый знаменитый.

За плотиной стояли пятистенки и большие крестовые избы – дома высланных раскулаченных. В Чебачинск слали кулаков с Украины, Рязанщины, Орловщины, чебачинских высылали дальше в Сибирь, сибирских – ещё дальше на восток. Хотелось верить, что придумал такое кто-то разумный, если можно говорить о разумности в этом безумии: с Украины прямо до Находки они б не доехали.

Дома эти ещё в тридцатые годы получили комбедовцы. Так как дома были просторные, то когда начала работать горсоветская комиссия по устройству эвакуированных, она почти в каждом находила излишки и подселяла приезжих; получился целый околоток, который так и именовали: у вакуированных. Подселённых не очень любили, называли: дворянки-водворянки. Эвакуированным, как и беженцам в первую германскую, давали какую-то мануфактуру, продукты; местные возмущались.

– И чего? – говорила мама, у которой Антон потом расспрашивал про войну. – Ведь это было только справедливо. У местных – огород, картошка, корова. А у этих, как и у ссыльных, – ничего.

– А почему они не заводили огороды? Ведь землю давали.

– Сколько угодно! В степи каждый желающий мог взять выделенную норму – 15 соток. Да и больше, никто не проверял. Но – не брали. Эвакуированные считали, что не сегодня завтра освободят Ленинград, возьмут Харьков, Киев и они вернутся. («Совсем как русская эмиграция, – думал Антон. – И города те же».) Да и не желали они в земле копаться. Из ссыльных? Ну, дворяне, кто в детстве жил в имениях. Из интеллигенции – почти никто. Наша техникумов-

ская литераторша Валентина Дмитриевна – ты её помнишь? – сначала жила в Кокчетаве. Недалеко от неё поселилась, когда отбывала ссылку, Анастасия Ивановна Цветаева. Так та, ничего сначала не умея, завела потом огород, выращивала картофель, овощи. И жила нормально. Но таких было мало. Голодали, продавали последнее, но обрабатывать землю не хотели. Дед над ними посмеивался: «Где ж власть земли? А народные истоки – самое время к ним припасть, заодно и себя прокормишь...»

Такие высказывания деда помнил и я, здесь он совпадал с местными, которые презирали приезжих за неумелость, нежеланье копаться в навозе. Уважали шахматиста Егорычева, построившего теплицу и жившего безбедно; власти поглядывали на неё косо, но найти пункт, по которому её можно было запретить, не могли.

Про эвакуированных рассказывали много чего. Одна женщина приехала только с небольшим баулом, да и в том половину места занимали две толстые книги: итальянский словарь и другая совсем огромная, иностранная, с божественными картинками. Женщина ничего не делает, только читает с утра до ночи эту книгу, иногда поглядывая в первую. На вопрос хозяйки ответила, что её цель – чтобы великий поэт заговорил по-русски.

У другой был младенец четырёх лет, который срывал с себя всякую одежду, рыдал и бился, если пробовали что-нибудь надеть, и ходил голый до октября, пока его не прекращали выпускать на улицу. Но как-то он всё же улизнул и полдня где-то бегал, заболел воспалением лёгких и помер.

Третья пишет письма, сворачивает в треугольники и складывает стопкой. Все – её мужу. А мальчишка хозяйки обнаружил, что под стопкой лежит на этого мужа похоронка, пришла год назад.

А ещё одна привезла с собою петуха и курицу и скармливала им получаемое по карточкам пшено. Когда пшено давать перестали, она решила птиц продать, но запросила такие деньги, за которые можно было купить целый курятник, – куры, дескать, орловской породы, хотя все знают, что такой породы бывают только лошади. Но дед, обозвав всех темнотой, на последние деньги купил этих курей. Петух оказался с гуся и впоследствии совершил много подвигов: выклевал глаз у уличного разбойного пса Гитлера, запретил коту Нерону сидеть на заборе вблизи курятника, сбив его своим мощным крылом, и – не все верили – вступил в успешный бой с ястребом, который пытался покуситься на цыплят подруги из его гарема.

К маминой лабораторной уборщице Фросе – у неё была одна комната, но очень большая – подселили семью из Киева: муж, жена, ребёнок. Фрося уступила им свою двуспальную кровать, сама стала жить с дочкой в кухне и спать на печке. Вскоре Фрося стала замечать, что у неё как-то быстро стала убывать картошка в подполе. «Берём вроде немного, а за две недели целый угол съели», – недоумевала она. Кроме жилички – некому. Фрося ей так в лицо и сказала. А та: «Ну и что, если взяли. Надо делиться. Война!» Но у Фроси картошка являлась главным продуктом питания, надо было дотянуть её до лета, и делиться она не собиралась.

– Как-то в воскресенье, – рассказывала мама, – когда жена должна была вот-вот вернуться с базара, а муж спал, Фрося взяла и прилегла к нему под бок. И лежит себе тихонечко. Жена приходит – скандал! А Фрося ей: «Ну и что! Надо делиться! Война! Мой на фронте – мне тоже мужика надо!» Жильцы немедленно съехали. А бывало и наоборот. Другую семью – он был мой студент, фронтовик, хромым, Хныкин – поставили к одной старушке, вроде порядочной, присматривала даже за ребёнком. Семья жила неплохо – родители откуда-то с Урала что-то присылали. Старуха жила в кухне, у жильцов в комнате была своя печь. Ребёнок у них был какой-то анемичный, всё время мёрз, Хныкин денег на дрова не жалел. Но он заметил, что его поленица уменьшается, а её стоит. И придумал вот что. Мы как раз изучали взрывчатые вещества. Одно из очень сильных – красный фосфор, если его смешать с бертолетовой солью. Он высверлил полено и туда этой смеси и напихал – украл у меня в лаборатории, напросился помогать ставить опыт и стащил. А когда она краденными поленьями печь-то затопила, у неё



и рвануло – полпечки разворотило. Она к Хныкину, в ужасе. А он ей: «Воровать не надо!» И рассказал. «Это могло меня убить. Я заявлю в милицию». – «Заявляйте. Я им расскажу, почему рвануло». Ну, печь он потом заделал – мастер был на все руки.

Рядом с моей лабораторией жила прачка, Федора Ивановна. Бедная, двое детей, муж на фронте. Кроме своей работы, брала ещё из госпиталя бельё – в кровавой коросте, в рвоте и вообще Бог знает в чём... Отмачивала его с золой в железной бочке – ей дали такую бочку, называли – зольник. Потом, до работы, кипятила в ней же во дворе на костре. К вечеру была еле живая. Рассказывала, как в НЭП брала бельё, потерявшее белизну, и отмачивала в кислом молоке (его было – залейся): через два дня – как новенькое. Жила огородом. Но копать-полоть было некогда. И когда к ней вселили семью и те научились копать, сажать – большая была помощь.

Я хорошо помнил Федору – крупную тётку с тяжёлыми, распухшими красными руками; у бабки такие руки были только после двухдневной стирки раз в две недели, у Федоры – всегда.

По Набережной в распутицу было ни пройти ни проехать. Но зато летом проезжая её часть покрывалась подушкой мягкой, как пух, пыли. Слабый дождик пробуровливал в ней лишь частые, как в дуршлаге, дырочки. После острокаменной дороги с Сопки или надречных склонов с жёстким слепокосным пырейным остьём, колючим молочаем или целых плантаций крапивы (клич звучал: «По крапиве прямиком так и дуем босиком», но даже возвращаться по уже слегка протолоченной тропке было больно) это был подарок сбитым и зажаленным босым ногам. Они тонули в пыли – тёплой серой или горячей чёрной – по щиколку, наслаждением было медленно брести, взрывая тут же опадающие крохотные воронки-бурунчики. Не хуже и бежалось – вздымалось сразу целое пыльное облако; называлось – «айда пылить». Ну а если проезжала одна из двух чебачинских полуторок, столб пыли подымался до крыш, и, пока не осел, в него требовалось успеть заскочить; Ваську за такое развлечение дядька протягивал костылём.

В этой пыли не жили куры и трепыхались воробьи. Воробьёв не любили – они склёвывали вишню, выклёвывали подсолнухи, не боясь, как прочие нормальные птицы, огородных пугал. Вызорить воробьиное гнездо не считалось грехом. Когда они раз в несколько лет собирались тучами на свои воробьиные базары (отец говорил: партсъезды), для огородников Набережной это была катастрофа.

– Ну хорошо, птичьи базары где-нибудь на Новой Земле, они там и гнездятся коллективно. Но тут? – поражался дед.

Воробьёв собиралось столько, что наверняка они слетались и из Батмашки, и из Котуркуля, с Карьера, может, даже из Успено-Юрьевки – кто их предупредил, что в этом месте, в этот день и час? Кто объяснил, как для жизни вида важен такой межродственный обмен? И дед в сотый раз застывал с разведёнными руками перед божественным таинством целесообразности Природы.

Под нелюбовь к воробьям чебачинцы подводили историческую базу. Когда Христа распинали, римские воины рассыпали гвозди. Воробей подпрыгивал, подавал их палачам и чирикал: «Жив! Жив!» И Спаситель сказал ему: «Всю жизнь тебя будут гонять и будешь подпрыгивать». Легенда хороша, говорил дед, но несколько портит её то, что воробей отнюдь не единственная прыгающая птица – так передвигаются и снегيري, и синицы, и все, у кого вместо двух как бы на шарнире берцовых костей – одна, отчего они и не могут ходить.

Апокрифы вообще процветали. Свинья закопала Христа в сено, а лошадь сено съела, его нашли, и он сказал свинье: ты всегда будешь сыта и жирна. И лошади: а ты станешь всю жизнь надрываться, будешь голодна и худая. Апокриф возник явно в среде тощей российской однолошадности.

Последним в переулке был дом Кемпелей-колбасников: старый Кемпель в Энгельсе работал на мясокомбинате. Был он и слесарь, и кузнец, и водопроводчик, сыновья его тоже умели

всё. В трудармию, где немцы гибли тысячами, Кемпеля не взяли как слишком старого, детей – как слишком молодых, семья выжила, обстроилась, сыновья после войны переженились – на своих. В колхозе «Двенадцатая годовщина Октября» старик купил пианино, когда-то реквизированное и лет пятнадцать стоявшее в ленинском уголке без употребления; профессор консерватории Серов его настроил; из окон дома колбасников по вечерам слышался Шуберт. Пел старший сын Ганс, механик на пармелънице, аккомпанировала его сестра Ирма, повариха. На работе и во дворе он всегда был весьма лохмат. Но когда появлялся на крыльце с идеально гладкими волосами, все знали: скоро из окон польётся про «Die schöne Müllerin»<sup>1</sup>, хотя ниточно-ровный пробор будут лицезреть одни домашние. Любил Кемпель-сын и русские песни, пел знаменитую кольцовскую «Ты душа моя, красна девица» в своём переводе, где «красна девица» превращалась в «красную мадемуазель»:

O, du meine Seele  
Rote Mademuaselle!

Антону вместо этой мадемуазели сильно хотелось вставить: Lumpenmamselle<sup>2</sup>. Но голос был хорош; когда через много лет Антон услышал Фишера Дискау, а позже – Германа Прая, он почувствовал знакомое – так Шуберта умеют петь только немцы. Теперь в доме жили внуки Кемпеля, из окон доносились «Битлз».

Переулок выводил к Ленинской, бывшей Дворянской, к центру. На углу стоял городской кинотеатр имени Сакко и Ванцетти. Был ещё железнодорожный – имени Клары Цеткин. Говорили: пойдём в Кларку, пойдём к Ссакам. Ссаки располагались в длинном приземистом здании, но с высокими потолками внутри – бывшем оптовом амбаре-складе купца Сапогова.

Кинотеатр был знаменит тем, что из него трудно было выйти. Огромные двустворчатые двери в торце заколотили – там висел экран, выход сделали через узкую боковую дверь, раньше через неё входили-выходили грузчики и конторщики Сапогова. Рассчитанная на тридцать человек, она не могла быстро выпустить пятьсот. Народ давился, Антона раз сильно поприжали, мама перестала пускать его одного. Но шла замечательная кинокартина «Трактористы», все друзья распевали: «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался», Антон упрашивал пустить. Ходатаем выступил Василий Илларионович, заявивший, что не сходя с места сей секунд скажет Антону точно, когда скоро конец фильма.

– Но вы же, Вася, кажется, не смотрели этот фильм? – осторожно удивилась мама.

– А зачем смотреть? Как пойдут строем трактора и трактористы запоют что-нибудь хором, шапку в охапку – и на выход.

Антон вернулся невредимым. Но мама всё же поинтересовалась:

– Шли строем трактора? Не шли? А как же ты? – мама ещё раз обеспокоенно оглядела Антона.

– Не трактора, а танки. Тоже строем, во весь экран. Я сразу и догадался. И все песню пели: «Сверкая блеском стали, когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин».

В Ссаках же смотрели и «Тарзана», а по второму и третьему разу бегали в Кларку. Преподаватель английского Атист Крышевич, бывший дипломат, попавший в Чебачинск после добровольного присоединения Латвии, ещё до войны читал в лондонской «Таймс», что крик Тарзана в джунглях – это наложенные друг на друга записи воя гиены, криков бабуинов и птицы марабу. Атисту мы верили – после того, как он сказал, что «На Дерибасовской открылась пивная» поётся на мотив популярного во всей Латинской Америке аргентинского танго «Эль чокло», которое он там везде слышал. Но дело было в том, что Борька Корма без помощи бабу-

---

<sup>1</sup> Прекрасная мельничиха (нем.).

<sup>2</sup> Шлюха (нем.).

инов воспроизводил этот крик со всеми его дикими руладами с абсолютной точностью. Потом Антон видел другие фильмы на этот сюжет. Старый ему нравился больше. То, что делают новые Тарзаны, овладевшие современным оружием, в боевиках делает любой Сталлоне. А в «Тарзане» с Вейсмюллером была прекрасная ностальгическая идея: сила и ловкость сына природы побеждают технику, слоны оказываются сильнее машин, а тот, кто разговаривает с животными на их языке, – непобедим.

Городской кинотеатр – он же клуб и городской театр – был известен ещё историей с занавесом. Его подарила Чебачинску певица Куляш Байсеитова, вернувшись с прославившей её первой декады казахского искусства в 36-м году в Москве (Антону очень нравилась её знаменитая песня «Гакку» из оперы «Кыз-Жибек»: «Га-ку, га-ку, га-га-га-га-га!»), той самой, на которой всплыл и Джамбул. Занавес был огромный, вишнёвого рытого бархата. И вдруг он пропал. Сапоговские пудовые замки на мощных пробоях железных дверей оказались целы: кто-то ухитрился снять и унести большой тяжёлый занавес после спектакля Омского драматического театра, пока актёры разгружались в десяти метрах, за сценой. Недели через две егерь Оглотков, мотаясь по Степи по своим егерским делам, заехал в цыганский табор, недавно раскинутый возле областного центра, в ста верстах от Чебачинска. Цыгане поразили Оглоткова роскошными бархатными шароварами бордового цвета, которые носили все мужчины табора; зрелище – умереть не встать. Табор оказался тот самый, что стоял недавно под Чебачинском, у Каменухи. Нарядили следствие, цыгане божились и целовали кресты, что купили материю у других цыган, которые теперь гуляют в Степи далеко-далеко. Фамилия у всех в таборе была одна: Нелюдских.

## 7. Кавалер Большой Золотой медали Великого князя

Дальше дорога лежала мимо школы – тоже бывшего дома Сапогова. Нижний этаж был когда-то лабазом с полуметровыми кирпичными стенами, второй – из сосны, такие толстые брёвна Антон видел ещё только раз – на избе Емельяна Пугачёва в Уральске, где он докладывал местным краоведам об уральских реалиях «Капитанской дочери».

В школу Антон пошёл в первый послевоенный год – во второй класс. Получилось это так.

После обеда, когда дед отдыхал, Антон забирался к нему на широкий топчан. Над топчаном висела географическая карта. Между делом, незаметно дед выучил его по этой карте читать не по слогам, а по какой-то его особой методике, сразу целыми словами.

Как-то зимою дед лежал на своём топчане, укрывшись овчинным тулупом. Мне больше нравился мягкий волчий, как на лежанке русской печи у Вальки Шелепова, и однажды отец Карбека, лесник, предлагал такой же прекрасный тулуп, но дед отговорил всех: овчинный предпочтительней, потому что овечья шерсть обладает целительными свойствами; потом я прочитал, что она ещё и отгоняет скорпионов, но и это не помогло – волчий всё равно казался в сто раз лучше. Дед лежал, а я сидел рядом на особенном стульце и читал ему «Правду». Газету эту дед в руки брать не любил, и когда говорил: «Почитай, о чём из столиц исповещают подданных», я уже знал, что читать надо только заголовки, делая после каждого паузу, во время которой дед говорил: «Всё ясно», или «Потери несут, конечно, только немцы», или, чаще всего: «Валяй дальше».

Отец вышел на кухню и, пока искал что-то в шкафчике, эту политпятиминутку услышал.

– И давно ты умеешь читать, Антоша?

Этого я не помнил, мне казалось, что я умел читать всегда.

– И считать умеешь?

Дед выучил Антона и счёту, сложению-вычитанию в пределах сотни; таблицу умножения он показывал, играя «в пальцы», и Антон, тоже между прочим, её запомнил.

– Тасенька, – позвал отец, – иди сюда, посмотришь на результаты по системе Ушинского.

Но мама не удивилась, она знала, что Антон уже читает «Из пушки на Луну» Жюль Верна.

– Что будем делать? – сказал отец. – В первом классе станут только алфавит мусолить полгода! Надо отдавать сразу во второй.

– Да он, наверное, писать не умеет, – сказала мама.

– Умею.

– Покажи.

Антон подошёл к печке-голландке и, вынув из кармана мел (там держать его бабка не разрешала, но Антон надеялся, что мама этого не знает), написал на её блестящей чёрной жести: «наши войска преодолевая».

– А в тетрадке ты можешь?

Антон смутился. Тетрадки у него не было. Писали они с дедом всегда мелом на той же голландке. Мама дала карандаш. Карандашом Антон только рисовал (его надо было экономить) – на старых таблицах по метеорологии, где в конце страницы всегда было много чистого места. Он очень старался, но получилось плохо.

– С чистописанием слабовато, – сказала мама. – А мел в карман не запикивай, положи.

Было решено, что Антон идёт осенью этого года во второй класс, а дед начинает немедленно, после дня рождения Антона, с 13 февраля заниматься с ним науками не на топчане, а как полагается, за столом, и не когда захочется, а каждый день; чистописание будет контролировать мама как бывшая учительница начальной школы.

Они стали заниматься. За столом всё же почти не сидели – дед считал, что усвоение гораздо успешнее происходит не за партой.

– Кюнце погубил не одно поколение, – говорил он в спорах на эту тему с мамой (позже Антон узнал, что этот Кюнце – изобретатель парт с ячейками для чернильниц и откидными крышками, которые с грохотом Антон открывал девять лет; такие парты он увидел потом в чеховской гимназии в Таганроге). Мама не соглашалась, потому что без парты и правильного держания ручки, конец которой смотрел бы точно в плечо, нельзя выработать хороший почерк. Её учили чистописанию ещё старые гимназические учителя; такого идеального почерка Антон не видел больше никогда.

Бабка рассказывала, что когда она приносила деду завтрак (в трёх салфетках: шерстяной и льняной – чтоб не остыл, и белой накрахмаленной, сверху), то нельзя было понять, перерыв или урок – во время занятий у деда сидели кто где хотел – на подоконниках, на полу, некоторые при решении задач предпочитали бродить по классу, как на популярной картине передвижника Богданова-Бельского «Устный счёт». Недавно Антон прочёл в журнале «Америка» статью о новейшей методике преподавания в младших классах – со снимками. Всё выглядело точь-в-точь как у деда и на картине передвижника, только у деда не было ковров и толстых разноцветных полиморфных пуфиков, разбросанных у американцев по всему интерьеру, – видимо, в них особенно проявлялось новейшее слово современной педагогики.

Басни Крылова всегда разыгрывались в лицах: Волк – в волчьей шубе, Ягнёнок – в вывороченной овчинной. Уроков как временных отрезков с обязательной сменой предмета не существовало – иногда басенный театр занимал всё учебное время этого дня, зато другой могли целиком посвятить грамматике или математике: если дети увлеклись игрой в числа или корни, занятие это не прерывалось.

Географии и естествознанию дед обучал не в классе, а на прогулках в лесу: лучше поступал какой-то Платон, занимавшийся со своими древними греками в апельсиновой роще. Дед учил определять высоту деревьев, а когда задирали головы, пользуясь случаем, рассказывал, на какой высоте стоят облака перистые (cirrus) и на какой – перисто-кучевые (cirro-cumulus), чем оперенье малиновки отличается от оперенья иволги, какие и где у них гнёзда, учил распознавать их голоса, кстати сообщая, что кукушка кукует, не раскрывая клюва. Рассказывал, как исландцы добывают гагачий пух. Этот пух – подстилка в гнезде гаги. Они её вынимают, заодно забирают и яйца. Птица опять устилает своим пухом гнездо и снова несёт яйца. Всё забирают во второй раз – из десятка гнёзд можно собрать до полутора фунтов пуха. Но в третий раз уже не берут – за это дед исландцев очень хвалил, Антон не понимал почему. В доколумбовой Америке не было пчёл – их завезли европейские поселенцы; слона нельзя было застрелить из ненарезного ружья – только из винтовки, с её изобретением для гигантов настали плохие времена; число особей мушек во всяком их рое над озером Виктория превышает число людей на земном шаре, а таких роёв там сотни; яйцо страуса можно разбить только каким-нибудь орудием, но это делают, как ни странно, не обезьяны, а грифы, которые берут в когти камень и бросают с высоты на это яйцо; из страусиного яйца можно сделать омлет на дюжину едоков (очень хотелось отведать), и странно, что не додумались этих птиц разводить (их разводят, дед, их разводят в Америке на фермах, и в середине 90-х годов страусов там было уже 10 миллионов); удар перепончатой двупалой ноги страуса так силен, что может убить льва, и львы это знают. Про львов интересных историй было много. Царь Дарий велел бросить пророка Даниила в ров с этими хищниками, но когда пришёл утром – Даниил был цел и невредим. «Бог замкнул пасти львам», – объяснил Даниил. Дарий освободил пророка и велел почитать его Бога, а врагов его бросить в ров, где львы понятно что с теми сделали. У колибри сходство с пчелой не только в том, что она почти такая же по размеру. Она и питается нектаром. Впрочем, в Австралии есть целое семейство птиц, которые тоже высасывают нектар, они так и называются: медососы. Когда в этот приезд Антона Тамара стала хвастаться,

что им провели водопровод, и он засмотрелся на водяную воронку в раковине, дед сказал: «А ты знаешь, почему воронка в раковине вращается не по часовой стрелке, а против?» Антон не знал. «Магнитное поле Земли расположено иначе». Тут же объяснил, почему стал плох чай: раньше с чайного куста собирали только три-четыре самых сочных и нежных верхних листика, а теперь обрывают чуть ли не весь куст, с грубыми и большими листьями, в которых много пустой клетчатки.

Для сообщения сведений дед пользовался всяким случаем – даже когда делал Антону замечания.

– Опять! Слушай ухом, а не брюхом – ты не саранча.

Антон удивлённо вскидывался.

– У неё органы слуха расположены на брюшке.

Дед постоянно пополнял в сознании Антона – как бы сейчас сказали – Книгу рекордов Гиннеса в природе, рассказывая про всё самое-самое – самый быстрый зверь, развивающий скорость 110 вёрст в час, – гепард (ему, как и борзой, гибкий позвоночник позволяет выбрасывать задние ноги далеко вперёд); самый сильный звук в истории – взрыв в 1883 году вулкана с замечательным именем Кракатау, звук этот был слышен за пять тысяч километров; самая эластичная кожа – у гиппопотамов, несмотря на её толщину в два сантиметра, во времена работорговли из неё делали кнуты; самая совершенная вентиляция убежищ из всех животных и насекомых – у термитов: когда масаи выжигают траву и вокруг бушует пламя, температура внутри термитника не повышается ни на градус.

Только растения плохо помнил Антон, это была дедова стихия, по второй профессии он именовался учёный-агроном, их называл то по-русски, то по-латыни; запоминались названия совсем не латинские – когда про беловатый и круглый, как мячик, гриб, испускавший из себя облако вонючей пыли, дед, поколебавшись, сказал: «бздюха». Латинское наименование у гриба, впрочем, выглядело тоже как-то сомнительно: люкопердон бовиста.

Иногда дед говорил нечто не очень понятное, но Антон тоже слушал внимательно и по привычке запоминал:

– Чтобы пользоваться силами Природы и благожелательными её дарами, надобно постичь законы механики, ботаники, знать естественную историю и действовать соответственно. И тогда Природа будет не только строга, но и дружелюбна.

Результаты метод деда, видимо, давал прекрасные: у него было множество каких-то поощрительных листов, а в двенадцатом году ко дню Св. Пасхи он был согласно представлению Министра Народного Просвещения пожалован Большой Золотой медалью Великого князя для ношения на шее. Правда, старики расходились во мнениях: дед говорил, что на Александровской ленте, а бабка – что на Владимирской. «Да что ты, старая! Золотые медали всегда носили только на Александровской ленте! Или на Анненской – но уже для ношения на груди». На эту медаль бабка в девятнадцатом году выменяла пуд гречки – медаль была большая, «золото настоящее, не то что теперь дают в школах и спортсменам».

После завтрака дед долго брился бритвой «Золинген», старой, хорошей стали, брившей со звоном, купленной в день коронации Николая и за полвека ставшей узкой, как карандаш (интересно, какова она сейчас, у старшего внука, ещё через полвека?), равнял усы, специальными ножничками подстригал волосы в ноздрях, – наблюдать за этим было очень интересно.

Уроки начинались с арифметики. «Купец купил 75 аршин синего сукна, – диктовал дед, – по 1 рублю 20 копеек за аршин... („75 арш. по 1 р. 20 к.“, – записывал мелом на печке Антон) и 30 аршин сукна цвета наваринского дыму с пламенем по 2 рубля 50 копеек за аршин. Сколько уплатил фабриканту купец, если...» Самое интересное были задачи-загадки: «Летела стая гусей. Навстречу им – один гусь. – Здравствуйте, сто гусей! – Нас не сто. Вот если б было ещё столько, да ещё полстолька, да ещё четверть столько, то было бы сто. Сколько гусей было в стае?» Или: «Бахус, воспользовавшись сном Силена, взял его урну с вином и стал пить. Но

недолго ему пришлось наслаждаться: Силен проснулся, вырвал у него урну и потопил своё горе в остатках вина. Бахус пил в течение трёх десятых того времени, какое нужно было бы Силену одному, чтобы выпить целую урну. Если бы с самого начала оба принялись пить вино из урны в одно и то же время...» Эта задача осталась без решения – слишком интересные пошли рассказы про Бахуса – Вакха, а также вакханок.

Дальше шла грамматика – писали тоже на печке, потому что можно было стирать, например, мягкие знаки в предложении: «Борись за уголь, сталь» – получалось: «Борис за угол стал». Писали и другие интересные фразы – если читать наоборот, выходило то же самое; называлось: перевертень. Самый лучший был придуман поэтом Державиным, стихи которого деду очень нравились, а Антону – нет, но за эту фразу Антон поэта очень уважал: «Я иду с мечем судия». Некоторое время Антон колебался: не считать ли лучшим перевертень «И суку укуси», но из уваженья к деду и Державину первое место оставил за ним.

В грамматике вообще увлекательного было много, всякие стихи.

Искусства ратного Суворов госп-1,  
В Италию вступивши лишь е-2,  
Разбил французов вне и замешал вну-3...

Или другие разные штуки. Почему говорят: ари-стократ, а не кричи-стократ, осто-рожно, а не осто-овёсно, до сви-дания, а не до сви-Швеция?

Не скрыл дед и потрясающее слово, с которым связана страшная тайна. Все думают, что во всём русском языке есть только одно слово с тремя буквами «е»: *длинношеее*. И один дед знал второе. Однако предупредил, что больше его никому нельзя называть. Антон сразу догадался: кто услышит – умрёт. Дед этого не исключал, но главное состояло в другом: дед высчитал, когда не только он, а всякий гражданин России будет знать *второе слово*. Сам дед до этого времени дожить даже и не думал, но полагал, что доживёт Антон, проверит и скажет: «А ведь старик-то был прав!» На всеобщее раздумье дед клал четыре десятилетия. Дед, ты оказался точен: через сорок два года я прочёл в «Учительской газете» что на этот вопрос ученики четвёртого класса ответили хором: «Зме-е-ед!»

Потом Антон читал вслух – рассказы Толстого. Дед к этому времени начинал подрёмывать, но когда Антон, желая ускорить дело (вслух читать он не любил – слишком медленно), пропускал фразу-другую, дед, не открывая глаз, сонным голосом её вставлял. Чтoб отбить время от скучного чтения, Антон спрашивал что-нибудь повеселее.

– Дед, а дразнилки у вас в семинарии были?

– А как же. Рядом был монастырь. Мы и дразнились: «Ай, монашка, ай, монашка, куда делась твоя рыска?» Или – к наставникам или духовному начальству – весной: «Птички божии запели, книги к чёрту полетели». Дело здесь, – пояснял дед, – в чёрте, запретном слове.

Дразнилки были так себе.

– Скажи лучше про свёклу.

– Nos sumus boursaci, edemus semper bouraci. Мы бурсаки и едим всегда бураки.

Если рядом оказывался кто-нибудь, Антон начинал ёрзать на стуле.

– Я предупреждал, – говорил дед. – Для ребёнка столько сидеть – противоестественно. Что, храпесидии устали?

Храпесидиями в семинарии назывались ягодицы. Было для этого ещё одно слово, даже лучше первого: афедрон.

Наказаний у деда было два: не буду гладить тебя по головке и – не поцелую на ночь. Второе было самое тяжёлое; когда дед его однажды применил, Антон до полуночи рыдал.

Как-то отец, проходя через кухню, услышал, что дед с Антоном беседуют на темы русской истории.



– И что же ты знаешь из истории? – остановился отец. – Ну хотя бы из начала прошлого века.

– Царствование императора Александра Благословенного, – подсказал дед.

– В это время начали строить шоссе из Петербурга в Москву, – сказал Антон. – А раньше были только грязные дороги, как в Чебачинске.

– А ещё какие события?

– Ещё открыли Лицей – это такой интернат, – где учился Пушкин. Ещё – ещё устроили главный банк для купцов, где они могли брать деньги, чтоб лучше торговать.

– А какое было главное событие?

Антон подумал:

– Основание Одессы. Город порто-франко.

Что такое порто-франко, Антон не понимал, но очень нравилось само слово.

– Ну а всё же самое главное событие? Мировое? Не помнишь? Изгнание Наполеона, взятие Парижа!.. Да, история у вас с дедушкой какая-то немасштабная... Впрочем, пока всем этим не занимайтесь. Историю будешь изучать в четвёртом классе.

Два раза в неделю было чистописание. Дед доставал пожелтевшие, истрёпанные прописи и уходил делать что-нибудь по хозяйству, а Антон выводил по косым линейкам пером № 86: «Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ».

В мае был экзамен. Старая учительница Клавдия Петровна должна была проверить, может ли Антон идти во второй класс. Экзамен почему-то состоял только из диктанта: «Девятое мая – это был день Победы. Мы ходили на площадь. Знамя несли Коля и Ваня». Клавдия Петровна прочитала, что написал Антон, исправила что-то красными чернилами и ещё долго молча смотрела в тетрадку. Потом сказала:

– Давно я не видела «ера» в ученической тетради.

– Там ошибка?

– Нет, всё в порядке, за диктант – пятёрка.

Клавдия Петровна взяла кожаный потёртый ридикюль с никелевым рантом – точно такой же был у бабки, его она купила перед первой войной, – достала из него крошечный носовой платочек, потом положила обратно.

Дома Антон спросил у деда, что такое «ер». Оказалось, что твёрдый знак. В диктанте в слове «быль» красными чернилами был зачёркнут «ер».

Первого сентября я с огромным и слегка кособоким телячьим ранцем, который шили всей семьёй, в трофейных, застёгнутых под коленками брючках-гольф, шёл в школу. Шёл впопрыжку, бормотушкой («Семафор, матадор, а не камень лабрадор») отгоняя страх, потому что чувствовал себя слабым в переводе простых дробей в десятичные, боялся, что это сразу обнаружится – первой в расписании стояла арифметика. Но на уроке почему-то долго копались в примерах на сложение и вычитание в пределах сотни – над тем, что мы с дедом делали устно. Видимо, дроби должны были переводить на следующем уроке. Но и на другой день занимались тем же. На уроке письма ни о каких частях речи и разборе по членам предложения, чего я тоже побаивался, не было и помина. Дед, не преподавав в начальной советской школе, имел смутное представление об её программе и по ошибке подготовил Антона до четвёртого класса включительно. Во втором классе делать ему было нечего, уроков он не готовил, целыми днями играя в лапту или штандер – игру, которой научил всех Кемпель. Но за первую четверть все оценки были отличные, только по военному делу была двойка.

Двойка в четверти! Отец пошёл в школу. Там он, во-первых, поговорил с Клавдией Петровной, которая ставила пятёрки ученику, за два месяца не открывшему учебник и превратившемуся в бездельника. Во-вторых, он поговорил с военруком Корендясовым. Выяснилось, что Антон – не военная косточка, про строй вообще не петрит ровно ничего, а когда военрук всё же

захотел его поощрить – он оказался первым на марш-броске («он неслабый мальчик»), Антон издевательски крикнул: «Рад стараться!» Но – главное – освоить поворот, особенно «кругом»: пятка-носок. Военрук не поленился показать, как поворачивается Антон. Пяткой-носком там и не пахло.

Вечером пришёл Бондаренко – отставной капитан, а ныне боец скотобойни. Взяли его туда за силу и меткость – по удару молотом он шёл сразу же за кузнецом Переплёткиным и его братом; капитан всегда подчёркивал, что он, Бондаренко, – боец скота, а не какой-нибудь съёмщик (это значило: шкур) или стопорезчик. Но новую свою профессию он всё равно не любил и говорил, что занимается ею только по необходимости, так как, кроме стрельбы из всех видов оружия, ничего больше не умеет; его мечтой был электрический скотоубой, как на знаменитых чикагских бойнях. По слухам, это собирались ввести на Семипалатинском мясокомбинате (том самом, который до войны строил отец Антона и где потом падала в обморок специалистка по реализму Достоевского). Бондаренко пришёл в форме, с орденами, в сверкающих хромовых сапогах работы сапожника дяди Дёмы; пробелы военной подготовки за первый класс были ликвидированы в полчаса; капитан сказал, что ещё чуть-чуть – и у Антона будет выправка, как у Вани Солнцева из фильма «Сын полка». Тут же Антон узнал, что если тебя хвалит старший по званию, то надо говорить не «рад стараться», а «служу Советскому Союзу».

Антон привыкал. К тому, что в школьном задачнике и, очевидно, вокруг нет никаких купцов и фабрикантов, а есть колхозники, юннаты, стахановцы, и надо высчитывать, сколько гектаров, а не десятин они засеяли и сколько тонн, а не пудов отгрузили за смену.

– Дед, а кто такой Стаханов? – спрашивал Антон.

– Да есть один такой шахтёр – пьяница и жулик. Полуграмотный. Сейчас начальник шахты в Караганде.

– Папа! – укоризненно говорила мама.

– Ну, сама и объясняй, – говорил дед.

Перед Новым годом Клавдия Петровна сказала:

– Дети!

Так называла только она, другие учителя говорили: «ребята».

– Дети! Скоро у нас в школе будет ёлка. Кто знает какие-нибудь стихи и песенки про Новый год?

Мишка, сосед по парте, прочёл про то, как «на Спасской башне бьют часы двенадцать раз». Стихов этих Антон не знал, они ему понравились, и он сразу их запомнил – он всегда запоминал стихи, которые нравились, с первого раза. И Васька Гагин прочитал хорошее стихотворение:

Белый снег пушистый  
В воздухе кружиста  
И на землю тихо  
Падает-ложиста.

Антон осмелел и тоже поднял руку. Теперь он это делал как следует: сгибал руку в локте, а не просто тянул её вверх, как в первый день, за что над ним вдоволь посмеялись.

– Что ты хочешь исполнить на ёлке, Антоша? – спросила Клавдия Петровна.

– Про Деда Мороза.

И Антон запел альтом как мог высоко:

Рождество Христово,  
Дедушка Мороз.  
Множество игрушек

### Дедушка принёс.

– Садис, – сказала Клавдия Петровна; она говорила: «садис», «шыгать», «коришневый», «сделалса», «лёв»; Антону это почему-то очень нравилось. – Дедушка тебя научил? Это хорошая песенка, Антон, но ты её споёшь в другое время.

Другое время наступило не скоро. Антон обучил этой песенке дочь Дашу, однако пела она её только дома и то стеснялась. Но недавно внучка Антона спела её на ёлке; песенка молодой учительницей была одобрена.

Какие-то казусы всё время случались на уроках истории СССР в четвёртом классе. Рассказывая про жизнь древних славян, Антон бодро затарабанил по Иловайскому: «Славяне были нетребовательны в пище – они довольствовались мясом, хлебом, мёдом и молоком». Класс, питавшийся преимущественно картошкой, грохнул хохотом. В другой раз Антон, освещая революционную ситуацию в деревне, сказал:

– Деревня выступала за большевиков. Туда приезжали инвалиды-пропагандисты.

– Почему инвалиды? – возмутилась учительница.

Этого Антон не знал. Но дед всегда говорил только так: в Мураванке всё было тихо, но приехал инвалид-пропагандист. Или: имение Жулкевских стояло нетронутым, но тут явились два инвалида-агитатора, и усадьбу сначала разграбили, а потом и вообще сожгли.

И ещё долго Антон будет говорить «Александр Второй, Царь-Освободитель», а на уроках географии – «Северо-Американские Соединённые Штаты», «Северный Ледовитый и Южный Ледовитый», и на уроках физики – что радио изобрёл Маркони, называть перенос единитной чертой и писать иногда по рассеянности в конце слов еры, что будет особенно раздражать преподавательницу литературы, считавшую, что Антон делает это из хулиганства.

## 8. Гений орфографии Васька Восемьдесят Пять

Всякий раз, когда Антон видел кирпич или слово «кирпич», он вспоминал Ваську Гагина, который это слово писал так: кердпич. Слово исчерчивалось красными чернилами, выводилось на доске. Васька всматривался, вытягивал шею, шевелил губами. А потом писал: «керьпичь». Когда учительница поправляла: падежи не «костьвенные», а косвенные, – Васька подзрительно хмурил брови, ибо твёрдо был уверен, что название это происходит от слова «кость»; Клавдия Петровна в конце концов махнула рукой. Написать правильно «чеснок» его нельзя было заставить никакими человеческими усилиями – другие, более мощные силы водили его пером и заставляли снова и снова догадливо вставлять лишнюю букву и предупредительно озвончать окончание: «честног».

Из своего орфографического опыта он сделал незыблемый вывод: в русском языке все слова пишутся не так, как произносятся, причём как можно дальше от реального звучания. Все исключения, непроезжимые согласные, звонкие на месте произносимых глухих, безударные гласные – всё это бултыхалось в его голове, как вода в неполном бочонке, который везут по ухабам, и выплёскивалось с неожиданной силой.

В четвёртый класс измученная Клавдия Петровна перевела Ваську с переэкзаменовкой по русскому языку. Васькин дядька (родителей у него не было) отчесал его костылём. И пообещал повторить воспитание осенью, если Васька не перейдёт в следующий класс.

Надо было Ваську выручать. Мы стали писать с ним диктанты. Результат первого был ошеломляющим. В тексте из ста слов мой ученик сделал сто тридцать ошибок. Дед посоветовал, проработав их с Васькой, ту же диктовку повторить. Васька сделал сто сорок. Дед сказал, что за тридцать пять лет преподавания такого не видывал – даже в партшколе и на рабфаке. Мне тоже с тех пор приходилось читать разные тексты – заочников, слушателей ветеринарных курсов, китайцев, вьетнамцев, студентов с Берега Слоновой Кости, корейцев. Ничего похожего не было и близко. Думаю, и не будет. Васька был гений и, как всякий гений, был неповторим. Где, чья изощрённая фантазия додумалась бы до таких шедевров, как «пестмо», «педжаг», «зоз-тёжка»? Когда и кто бы ещё смог «абрикос» превратить в «аппрекоз»?..

Это был мой лучший друг. Когда в четвёртом классе (Вася бы написал: «в клазсе») учительница дала тему домашнего сочинения «Мой друг», я не размышлял и секунды. Начало пошло легко: «У меня есть друг. Летом, когда было очень жарко, мы писали с Васей диктанты». Однако дальше, когда следовало осветить уже Васькину помощь другу, то есть мне, писанье застопорилось. В памяти всплывало что-то не то: как Вася таскал для меня огурцы с тёткиной грядки или отдал обратно часть выигранных у меня же пёрышек, чтобы мы могли играть в эту запрещённую азартную игру дальше. Или вспомнилась история со штанами. Была такая весёлая забава: пока ты купаешься в речке, твою штанину завязывают узлом. Узел затягивают двое – вроде перетягивания каната. После этого штанину ещё замачивают. Развязать такой узел детскими пальцами и зубами практически невозможно. Я энергично приступил к описанию подобного эпизода, где главным героем был Вася. «Однажды жарким знойным летом, когда всё живое стремится к воде, мы пошли купаться». Начало своей художественностью мне понравилось. Но дальше пошло хуже: «Пока я купался, Вася не дал завязать узлом мою штанину...» Это была неполная правда, и я добавил: «и замочить её в тине, чтобы она стала грязная и скользкая и чтобы её нельзя было развязать». Это была уже неприкрытая правда. Но что-то главное из масштабов Васиной услуги всё же ускользало. Я долго грыз конец ручки, выплёвывая голубую краску, и закончил: «И я не пошёл домой без штанов». Получалась уже полная чепуха. Явно не подходила для школьного сочинения и другая тема, связанная с Васиным великодушием и добротой, – как он всегда оставлял докурить своим товарищам не «двадцать», а «сорок», т. е. окурок, составляющий лишь немногим меньше половины папиросы.

Но сочинение не могло остаться без конца. Не миновать было обращения к деду. Правда, он мог сказать: «Неудобовразумительно, в написании очень длительно»; однако он заметил только, что ограничился бы одной фразой общего характера, и тут же такую фразу предложил: «Приятель в моих делах также принимал живейшее участие, оказывая мне всяческую помощь, и во всех превратностях судьбы на него можно было положиться вполне». При этом дед особенно хмурил брови – как всегда, когда усиливался не рассмеяться. Но я очень торопился, и мне было не до дедовых бровей.

Через два дня Клавдия Петровна, раздавая сочинения, спросила:

– Антон, а какие превратности судьбы ты имел в виду?

Я молчал, потому что «судьба» в моём сознании тесно связывалась со словом «суд» – в этом соседстве они всегда оказывались в речах и деда, и бабки. Объяснить это было сложно. Но я всё-таки выдал:

– Это когда меня будут судить.

– Судить? – поразила Клавдия Петровна. – Тебя?..

– Ну, когда я вырасту.

Клавдия Петровна больше не расспрашивала.

Когда в этот приезд Антон её навестил, ей, как и деду, было за девяносто, она уже не помнила ничего и Антона. Но когда он произнёс: «превратности судьбы», в её водянистых глазах что-то мелькнуло и остановилось.

– Да, это ты... и Вася. Как же! – учительница оживилась. – Он ещё писал «пестмо», а «во втором» – с четырьмя ошибками: «ва фтаромм». Надо ж было изобрести! – она восхищённо всплеснула слабыми руками. – Это мог только он!

Но прославился Василий не своей орфографией, с которой был знаком лишь узкий круг. Славу ему принесло художественное чтение стихов – его главная страсть.

На уроках он о чём-то думал, шевеля губами, и включался, только когда Клавдия Петровна задавала на дом читать стихотворение.

– Назуст? – восторгнулся Вася.

– Ты, Вася, можешь выучить и наизусть.

Он выступал на школьных олимпиадах и смотрах. На репетициях его поправляли, он соглашался. Но на сцене всё равно давал собственное творческое решение. Никто так гениально-бессмысленно не мог расчленил стихотворную строку. Стихи Некрасова:

Умру я скоро.  
Жалкое наследство,  
О родина, оставляю я тебе, —

Вася читал так:

– Умру я скоро – жалкое наследство! – и, сделав жалистную морду, широко разводил руками и поникал головою.

Отрывок из «Евгения Онегина» «Уж небо осенью дышало», который во втором классе учили наизусть, в Васиной интерпретации звучал не менее замечательно:

Уж реже солнышко блистало,  
Короче: становился день.

После слова «короче» Вася деловито хмурил свои густые тёмные брови и делал рубящий жест ладонью, как завроно Крючков.

Энергичное обобщение в стиховой речи Вася особенно ценил. Строку из «Кавказа» «Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады» он сперва читал без паузы после первого слова (его

он, естественно, принимал за «вообще»). Но Клавдия Петровна сказала, что у Пушкина после него стоит восклицательный знак, а читается оно как «вотще», то есть «напрасно». Вася, подзрительно её выслушав (учителям он не доверял), замечание про «вотще» игнорировал, про паузу принял и на олимпиаде, добавив ещё одну домашнюю заготовку, прочёл так: «Вааще – нет ни пищи ему, ни отравы!»

В «Родной речи» были стихи:

Я – русский человек, и русская природа  
Любезна мне, и я её пою.  
Я – русский человек, сын своего народа,  
Я с гордостью гляжу на Родину свою.

Имя автора изгладилось из моей памяти. «Любезна» и «пою» тяготеют к державинскому времени, но «сын своего народа» – ближе к фразеологии советской.

Вася, встав в позу, декламировал с пафосом:

Я русский человек – и русская порода!

И гулко бил себя в грудь. По эффекту это было сопоставимо только с выступлением на районной олимпиаде Гали Ивановой, которая, читая «Бородино», при стихе «Земля тряслась, как наши груди» приподняла и потрясла на ладонях свои груди – мощные, рубенсовские, несмотря на юный возраст их обладательницы.

Шедевром Васи было стихотворение «Смерть поэта»: «Погиб поэт – невольник! Честипал! Оклеветанный! – Вася, как Эрнст Тельман, выбрасывал вперёд кулак. – Молвой с свинцом!»

Дальнейшую интерпретацию текста за громовым хохотом и овацией разобрать было невозможно. Васька был гений звучащего стиха.

Его пробовали исключать из списка участников очередной олимпиады. Но на совещании директоров школ-участниц заврону Крючков неизменно спрашивал директора нашей школы: «А этот, поэт-невольник, будет что-нибудь декламировать?» И Гагина срочно вписывали обратно.

Начиная с четвёртого в каждом классе он сидел – всё из-за того же русского языка – по три года. Дядька после получения очередного известия о второгодничестве вздувал Ваську костылём, после чего воспитательный вопрос считал исчерпанным.

К шестому классу это был здоровенный 16-летний парень с мощной мускулатурой и широкими плечами. Начиная с мая месяца он ночевал не в избе, а на сеновале. Вскоре туда же переселялась Зинка, его кузина, в свои пятнадцать выглядевшая на девятнадцать. Всё лето Васька жил с ней как с женой (они даже ругались по утрам, и Зинка, девка здоровая, один раз спихнула Ваську с повети). Тётку это почему-то не волновало; каждый вечер, после ужина, она командовала: «Дети, марш на сеновал!» (Зимой эти дети жили с нею и её мужем в одной комнате.) Васька свою связь передо мной не скрывал, но особенно про неё и не распространялся – может, потому, что я смертельно ему завидовал.

В шестом классе они вернулись в свою деревню. Последним, дошедшим до меня в чужой передаче его шедевром стало слово «арарх» – так, полагал Вася, называлось явление, обозначаемое в учебнике как «феодалная иерархия».

Прозвище у Васьки было «Восемьдесят Пять». Почему – никто не знал. Но Ваське оно чем-то очень подходило.

## 9. В бане и около

Венцом сегодняшнего маршрута была баня. Утром, уходя, Антон сказал деду, желая его развеселить:

– Таз брать?

В Антоново время в баню ходили не только со своими вениками. Отец Антона, человек в городе уважаемый, учитель, известный лектор общества «Знание», шествовал через город с огромным белым эмалированным тазом: шаяк в моечной не хватало, и кто со своим тазом – шёл без очереди.

Баня была на месте – краснокирпичное одноэтажное здание со странно, у самой крыши расположенными окнами – чтоб не подглядывали. Её, как и школу, построил купец Сапогов; Антон долго считал, что благотворитель – такая должность, тот, кто строит главные здания в городе: больницу, почту, школу, райком партии. Всё это были большие дома, из кирпича или могучих брёвен, рассчитанных на вековое стояние.

И теперь, в конце века, они стоят так же прочно, не оседают, не гниют, не требуют капитального ремонта.

Баня была не просто моечным заведением – она была клубом, кафе. В предбаннике отдыхали после парилки (парились жестоко, до морока, выскакивали, как из преисподней), помывшись, долго сидели в чистых кальсонах, попивая клюквенный морс, домашнюю бражку (мысль о том, что мог быть буфет, никому и в голову не приходила), курили, не торопясь одевались. И разговаривали – из-за этого Антон с одеваньем всегда сильно запаздывал, слишком много интересного рассказывали, сидел раскрыв рот. Как-то, услышав, что отец выговаривает ему за это, сидевший на соседней скамейке, завернувшись в огромное трофейное полотенце, сосед, капитан Сумбаев, солдат шести войн, как он себя именовал, сказал:

– Ты же будущий боец. Отменили в младших классах военную подготовку. А зря! За сколько может одеться солдат? У кого часы с секундомером? Засекай. Минута будет – скажешь.

Открыв шкафчик, где вся одежда была разложена в невероятном порядке, капитан, как будто и не очень торопясь, надел бельё, галифе, неуловимыми движениями, как фокусник, в несколько секунд обернул ступни белоснежными портянками, которые до этого были аккуратно расправлены на жерлах сапог, влез, звякнув медалями, в гимнастёрку, затянул ремень и, ещё успев провести по редким волосам гребешком, притопнул и прищёлкнул каблуками.

– Пятьдесят пять, – сказал владелец секундной стрелки.

Антон глядел зачарованно – и больше всего на сапоги, сверкающие, как карагандинский уголь-антрацит. Из-за забора он иногда видел, как Сумбаев чистил их на крыльце. Антон успевал дойти до колодца, набрать воды, сходить ещё раз – капитан, громко плюя и стуча щёткой о щётку, всё чистил. Осенью при чебачинской грязи хватало этого блеска на полквартила, но он чистил всё равно. Это было непонятно. Отец же – неизменно восхищался. Сам он тоже придавал чистке сапог большое значение, варил с помощью мамы гуталин по особенному рецепту, взятому ещё в Москве у знакомого ассирийца на углу Тверской и бульваров. Гуталин получался неважный (не тот воск, разве это воск? стеарин), плохо растирался, сапог приходилось греть при открытой заслонке у печки, и когда после войны отец поехал в Москву, то навёз множество баночек, бутылочек и разноцветных бархоток, после чего мог соперничать с Сумбаевым в зеркальной гладкости сапожных головок и мягком глубоком блеске гармошек голенищ.

Баня была клубом, своей газетой. Поэтому в неё ходили даже тогда, когда мытьё там не очень отличалось от домашнего – замерзал водопровод («Мелкое заложение», – говорил работник водокачки Гурка), воду привозили на быках, заливали в котёл ведрами и выдавали по норме – четыре шайки на человека. Именно в предбаннике я впервые услышал про Васю Тёркина, который воевал «в соседнем батальоне» и про которого один поэт, тоже наш брат-



фронтовик, майор, так здорово написал – про всё: про окопы, про кормёжку и про баню тоже: «Не спеша надел солдат новые подштанники, не спеша надел штаны и почти что новые, с точки зрения старшины, сапоги кирзовые». С точки зрения старшины! Это тебе не вошь на блюде, это промеж нас потереться надо! Тут же сказали, что майор этот – из кулацкой семьи, которая вся кукует где-то на поселении за Уралом, и что через такие стихи её должны бы отпустить или, по крайности, срок скостить – но вряд ли, не зависит, Русланова сидит вон уж сколько.

Может, из-за того, что близко были Карлаг, Долинка и другие большие лагеря, или потому, что в Чебацье приезжали для отбытия послелагерной ссылки из самых разных мест, но осведомлённость жителей была поразительна. И с младых ногтей Антон знал, что Козин отбывает срок под Магаданом, а Зоя Фёдорова – в Дубровлаге, жена Зиновьева отмотала срок и после войны работает воспитательницей в детсаду в Магадане, что сидят жёны Калинина и Молотова. Рассказывали с таинственными лицами подробности: продукты жене Молотов отправляет туда на самолёте – белый хлеб, колбасу там, шпроты. Фамилия её Антону очень нравилась: Жемчужина (до она была главная в стране по духам и одеколону). Слышал Антон и то, что в войну самые большие посадки и расстрелы были после крупных поражений на фронтах и осенью, когда предстояло собирать урожай, что сажали волнами: волна дворян, волна инженеров, учёных, церковников, партийцев.

Маленьким Антон иногда ходил в баню с мамой. Женское отделение он любил гораздо больше: в предбаннике был большой фикус в кадке, а в моечной разглядывать было что, картины эти запечатлелись навсегда. Но с шести лет мама его брать с собою перестала. Друзья его продолжали ходить в баню с матерями уже будучи школьниками, и не первого класса, и, бывало, встречали там своих учительниц. Васька Гагин получил однажды намыленной мочалкой по физиономии, когда слишком долго рассматривал старшую пионервожатую – ещё шею вытянул, гадёныш. «Ну чего шумишь, – успокаивала её Васькина тётка. – Не Лемешева я сюда привела, ребёнка!» Учительницы выговаривали банщице Петровне, она давала обещанья больших впредь не пускать, но всё равно пускала, потому что была женщина добрая и понимала, что мальчику послевоенной безотцовщины идти больше не с кем (без взрослых – не разрешалось).

Антон отправляли мыться с дедом. Самое лучшее в бане было – мочалка, огромная, лохматая, взбивавшая чудную пену. Когда поистерлась довоенная губка, дед принёс с конного двора две рваные рогожи; из них он дня три дёргал мочалу, Антон немножко ему помогал.

– Дедка, а как ты узнал, что там есть рогожи?

– Где извозчики и лошади – не может не быть. Накрыть поклажу, да и самому укрыться в непогоду.

Мочалку у деда нередко просили – те, кто мылись носовыми платками, холстинками. Дед давал, но без особого удовольствия.

– Дед, а почему они не надёргают, как мы, себе такую же?

– Спроси у них.

Отец в баню ходил гораздо чаще чем раз в неделю, изыскивая предлоги всяческие: уголь разгружал – надо отмыться, в лес за дровами ездил – надо прогреться, бывший ученик можжевеловый веник подарил – надо опробовать, никогда не паривался. Бабка поглядывала неодобрительно: стирки на одиннадцать человек и так было выше головы, отец же, кроме чистого белья, всякий раз требовал свежее полотенце, а то и два, чтоб как в Сандунах.

Когда в бане замерзал водопровод, бабка мыла Антона дома в деревянном корыте, таком длинном, что он, мальчик рослый, вытягивался в нём во всю длину и место ещё оставалось. Таких корыт Антон не видел больше нигде и никогда – ни у гуцулов, ни в Забайкалье, ни в дагестанских аулах. Было оно из целикового дуба и походило на скотью напойную колоду у колодца, а ещё больше – на ту лодку, которую выдолбил себе Робинзон и которую не мог сдвинуть с места, – когда корыто надо было поставить на стол, где проходило мытьё, бабка звала деда или Тамару. Антон мыться не любил: собственного производства мыло зверски щипало глаза,

бабка всегда спешила и голову тёрла так энергично, что та моталась, как у тряпичной куклы, бабкины пальцы были железные, тренированные ручной стиркой на огромную семью с семнадцатого года (после бабки, Тамары, тёти Тани Антон долго считал, что все женщины такие сильные), да ещё под конец окатывала Антона из ведра колодезной ледяной водой, приговаривая: «А теперь – самое приятное!» Антон считал это особо утончённым издевательством, но впоследствии заметил, что в ледяной воде – от душа до горных рек и океанов – находит с каждым десятилетием действительно всё большую приятность.

Раз Антону пришлось париться в русской печи. (Отец тоже пробовал, но нашёл, что свод низок, нет размаха для веника – не то что в печи родового дома под Бежецком.) Катаясь с Васькой на Речке, Антон провалился сквозь тонкий лёд и, обледенелый, еле прибрёл домой. Бабка, срывая с него одежду, причитала, что нет спирта и даже водки для растирки. Но отец сказал, что Антоша выбрал время очень удачно – из печи только что вынули хлебы – и он будет греться, как древние славяне. Бабка ворчала, не одобряя эти простонародные штучки. Но отец быстро выгреб горячую золу, набросал мокрой ржаной соломы, запустил внутрь Антона, строго наказав не шевелиться, не дай Бог тронуть раскалённый свод, – и закрыл устье заслонкою. Стало темно, выколи глаз, душно и страшно; Антон вспомнил, как, пытаясь выбраться, только обламывал кромку льда, – если б не Васька, подползший к полынье на брюхе и протянувший палку, лежал бы сейчас на дне. Он стал сначала тихо всхлипывать, а потом зарыдал в полную силу.

– Дыши глубже, – глухо, как в подземелье, донёсся откуда-то голос отца. – А то заболеешь воспалением лёгких.

Глубоко дышать и одновременно рыдать не получалось, Антон затих; воспалением он не заболел.

Когда Антон немного подрос, они ходили с дедом в станционную баню, если городская не работала, – за четыре километра по тридцатиградусному морозу; когда у Антона появилась своя дочь, он никак не мог понять, как отпускали; но отпускали, и ничего. Приезжая на каникулы, он ходил попариться с отцом, большим знатоком парного искусства. Обхаживал сына веником: «Ну и спина у тебя стала! Как стол!» Спрашивал, не забыл ли Антон, как взбивать пену в тазу. Впрочем, сейчас это искусство лишнее, там у вас всякие шампуни... Отец говорил «у вас», а раньше всегда – «у нас»; у Антона что-то ёкнуло, он дал себе слово перевезти его обратно в Москву. Спрашивал и про московские бани, удивлялся, что сын только раз посетил Сандуны. Попад впервое в столичную баню, Антон поразился обилию толстяков с висящими животами и женскими складками на бёдрах, молодых мужчин с ровными от плеча до запястья руками, на которых не просматривалось и следа мускулов. В Чебачинске пузач был один – председатель райпотребсоюза Гатыч (бюрократов в «Крокодиле» рисуют пузатыми, считал Антон, для пущего смеха). Баню наполняли поджарые, мускулистые мужики – и учителя, инженеры, врачи тоже были такими.

Всё оказалось на месте. В банщиках состоял тот же Петрович, брат банщицы Петровны, которая иногда его в мужском отделении заменяла, и мужики неизменно острили: «А Петрович теперь у баб?» Был он человек добрый. Инвалидам всегда помогал дойти до места, приносил полный таз; иногда на лавке получалось четыре ноги на троих. Деликатность его доходила до забвения профессионального долга, это было странно, а может, и нет, потому что в банщиках он ходил давно – ещё в Потье семь лет мыл эков. Однажды в моечной появился пожилой казах с какою-то кожной болезнью, Антон в ужасе отсел на дальнюю скамейку. По инструкции банщик должен был его не пустить. Но Петрович, только когда казах уже одевался, подошёл и, смущаясь, сказал: «Вы бы, дедушка, сходили в кожный диспансер, что у озера». Казах в бане Антон видел редко, говорили, что они вообще не моются, только меняют бельё. Мама считала, что это наветы: возле лошадей, овец они все давно поголовно были бы в чесотке или ещё в чём похуже. Но дед говорил, что бедуины в Сахаре тоже не моются, мытьё им заменяют струйки песка, попадающие под просторный бурнус и свободно высыпаящиеся обратно.

Голова и борода Петровича по-прежнему вороно чернели; был это огромный мужик, Антон страшно завидовал тому, что он держал в пальцах одной руки таз с водою как какую-нибудь миску.

– А, москвич! – узнал Петрович. – А как там, паришься? Да небось негде. Залезут в ванну, тут же моются, тут же плюют и в этой же воде сидят.

Всё было на месте. Даже деревянные шайки ещё попадались. Правда, основной *парк тазов* Петровича был уже цинковый. Антон налил таз, взялся одной рукою за закраину, поднял, но с трудом, хотя таз был неполный – Петровича было не достичь. Появились и новшества: буфет, где наливали томатный и яблочный сок, а под праздники – и пиво.

Разморённый, чистый, с вертящейся в голове поговоркой «счастливый, как из бани», возвращался Антон домой (назойливая память добавляла: «Усталые и довольные, пионеры...»). Но беспримесной радости на отчине испытать не получалось. На месте дома Генки Меншикова, утопавшего в кустах сирени, стояла серая пятиэтажка. Сидевшую на лавочке у подъезда женщину Антон сперва не узнал – неуж это сестра Генки Лидочка, поражавшая какой-то особой белорозовостью и нежностью щёк? неуж все будут такими? К этому Антон не мог привыкнуть никак и сильно огорчился, за что над ним смеялись. Он отвернулся и убыстрил шаги. В особенно огорчительное состояние привела его Банная Горка.

Эта горка была местом зимних катаний. Устраивал её Петрович. Грязная вода из моечной стекала под-за стену, в отстойник, он выходил, черпал оттуда ведром и поливал горку. Мы катались с неё на санках, которые бесплатно делал сосед Гурий, мастер на все руки, – такие я потом видел, готовясь к экзаменам на истфаке, в одной из книг Арциховского о раскопках в Новгороде Великом. Васька Гагин приходил с ледянкой – толстым диском с полметра в диаметре, слепленным из коровьего навоза, замороженным, с нарощенным на скользящей поверхности льдом. Ледянка была неуправляема, но зато во время движения здорово вертелась вокруг своей оси.

– Иду на таран! – кричал Васька, пытаясь направить свою ледянку на Кемпеля. – Смерть немецким оккупантам!

Но непредсказуемая ледянка, крутясь, врезалась в санки Вальки Шелепова, а непротаранный Кемпель тоже орал про смерть немецким оккупантам и ударял в бок мои санки.

– Та-та-та-та-та-та! – изображал автоматчика Генка Меншиков. Он всегда, даже во время уроков, стрелял из автомата. Его ставили к доске, выгоняли из класса, вызывали родителей, но не помогало ничего – он продолжал строчить очередями.

Банная Горка сыграла роковую роль в судьбе моей первой учительницы. «И кажется, я тому причиною».

В тот день, придя после катанья домой, я сразу расстроился: с мамой не поговорить – по делам олимпиады пришла завуч нашей школы, которую у нас дома называли Сорок Разбойников. У отца для домашнего употребления почти все преподаватели имели прозвища: Ваня Скок, Златозубка, Заплаткин, Который за Кустом. Последнее прозвище, впрочем, по словам мамы, придумал я лет в пять – ходил и распевал: «Соркин ходит за кустом, за кустом!» Математик Константин Христофорович именовался «Младший Бенкендорф» – по совпадению его имени-отчества с братом шефа жандармов. Но женщины ушли в другую комнату, значит с отцом можно было беседовать без помех.

– А мы сейчас возле бани с горки катались, – сообщил я.

– С ледяной? – рассеянно спросил отец. Он, не отвлекаясь от газеты, всегда умел схватить суть ситуации. В данном случае эта суть заключалась в том, что горку вчера Петрович полил сточной водой и она покрылась толстым слоем превосходного грязно-серого льда.

– Ледяной! – Я рассказал про Петровича. Отец молчал. Тогда я пустил в ход вторую, сенсационную новость.

– А с нами Клавдия Петровна каталась.

– Угу, – сказал отец. Его, видимо, не очень удивило, что учительница начальной школы руководила развлечениями своих питомцев. Но тут я добавил с торжеством:

– На венике!

– Хорошо, – сказал отец. Потом вдруг опустил газету. – Как ты сказал?

– На венике, – твёрдо повторил я. – На банном.

– Погоди-погоди. Кто катался на венике?

– Клавдия Петровна. Она каждую среду после бани так катается. Васька говорил. Только я в это время «Музыкальную шкатулку» слушаю. А сегодня радио не работает – мукановский верблюд чесался об столб и сломал.

– Чесался об столб... И как это она катается?

– Садится и едет. А сумку держит на коленях, – объяснил я.

– Кто катается на венике? – спросила, входя в комнату, мама.

– Клавдия Петровна, – сказал я с неохотой, потому что за маминым плечом уже маячила Сорок Разбойников. Учительницу на самом деле звали Стапарнара Федуловна. Но имя это ученики никак не могли правильно запомнить. Однако подать заявление в загс об изменении она долго не решалась, ибо имя расшифровывалось как «Сталин – партия – народ». Бедняга надумала испросить позволения в облоно. Завоблоно направил её письмо секретарю райкома. Тот – неожиданно быстро – разрешил. Поговаривали, что, воспользовавшись совещанием в области, он посоветовался с Первым. Историчка стала Степанидой. Но так её тоже не называл никто.

– На венике? Как ведьма, что ли? – сказала Сорок Разбойников.

– Не как ведьма, – обиделся я. – Она хорошо ездит.

– Я же говорила вам, Анастасия Леонидовна, – сказала Сорок Разбойников. – Шизофреничка. Нетяжёлая форма. Проявляется редко.

Слово «шизофреничка» Антону понравилось, в нём было много хороших звуков. Слова, которые ему нравились, он оставлял на вечер и шептал их, уже лёжа под одеялом. «Шизофреничка», – повторил он, засыпая.

На другой день Антон, как обычно, сообщил новое слово Гагину. Васька написал на доске: «Шезохреничка». Клавдия Петровна вошла в класс, прочитала, села за свой стол и заплакала. Потом вышла. В класс она не входила больше никогда. Как рассказывал потом Атист Крышевич, преподаватель немецкого и английского, в учительской Клавдия Петровна долго рыдала, сообразительная Сорок Разбойников вызвала не врача, а сразу санитаров из местной психбольницы, а кто туда попадал – оставь надежду входящий. Через месяц её выписали с диагнозом «элементы депрессивного психоза», в школу обратно не взяли, а в пенсионном возрасте она состояла уже давно. Любили её все – и ученики, и родители. Первоклассники у неё раньше, чем у других, начинали читать – даже переростки из оккупированных областей, которые за парту садились в девять, в десять лет. Её ученики до сих пор поражают всех своей гротовской каллиграфией. Никто никогда не замечал каких-либо отклонений в её психике. Депрессивный психоз проявлялся только в катании на венике с ледяной горки. Факт этот фигурировал как единственный и в её истории болезни.

## 10. Кооперативный конь Мальчик, или Черепаха Наполеона

У Банной Горки понуро стояла серая лошадь, без уздечки, непривязанная. Рядом курил мужик.

– Твоя, что ли? – спросил Антон.

– Ну.

– А неподкованная почему?

– Банная. Больная. Забивать надо, а на бойне не берут.

– Что ж будешь делать?

– А пускай стоит. Можя, сама околеет. Два раза уже выгонял с конного двора – приходит обратно. Двадцать девять лет коню. Куда уж.

Двадцать девять! Именно столько лет было Мальчику, главной и единственной тягловой силе кооператива «Будённовец», организованного семью преподавателями Чебачинского горно-металлургического техникума в сорок втором году, когда им полгода не выдавали жалованья и они только расписывались, что добровольно перечисляют его в фонд обороны.

Название придумал парторг Исаканов:

– Так будет политически грамотно. Никого не удивит. И намёк на коня.

Конь, которого приобрели кооператоры, был комиссованный, со съеденными зубами 29-летний мерин, худогривый, однако хвостатый и редкой масти: спереди мухортый, а дальше чалый, но в пежинах, отец говорил, что в яблоках, но было ясно – чтобы поднять его лошадиный престиж. «Конь – огонь, – специально для Антона добавлял он, – четыре ноги, пятое брюхо, едет хоть мокро, хоть сухо».

Ирония названия кооператива заключалась в том, что Мальчик был никоим образом не будённовец, а совсем даже колчаковец, мобилизованный в Омске и исправно служивший в Белой армии, в перипетиях гражданской войны оказавшийся от Омска в двухстах километрах – в Чебачинске. Старый конь, не страшившийся ни выстрелов, ни огня костра, единственно чего боялся – это красных знамён и людей в красноармейской форме, при виде их шарахался и мог понести. А так как по улицам тихого и глухого Чебачинска почему-то всё время с пением и посвистом маршировали красноармейцы, то недостаток оказался существенным. К счастью, вскоре он самоликвидировался: ввели новые знаки отличия, и Мальчик не только перестал шарахаться от воинских колонн, но начал проявлять к ним острый интерес и всё время норовил подъехать поближе к командиру в золотых погонах, сминая при этом строй. Дорогу кооперативный конь запоминал с первого раза лучше опытного шофёра, и даже завуч Канцевич благополучно довозил до дому сено или картошку.

По этому поводу дед рассказывал про лошадь Липку, на которой он ездил в бытность директором совхоза «Весёлые Терны» на Украине в двадцатых годах, – кобылу необыкновенной резвости, орловской породы (следовал рассказ о графе Орлове и его конзаводах), серой в яблоках, а хвост и грива белые. Утром совхозный конюх выпускал её, уже осёдланную, и она сама прибегала к дому, а когда дед выходил, клала ему голову на плечо. (Когда дед про это говорил, мне показалось, что у него блеснули слёзы – этого я не видел более ни разу, даже когда он рассказывал о разорении их имения, о смерти брата в харьковской тюрьме, о расстреле другого.) Приехав на вокзал, дед Липку тоже отпускал: «Липка, домой!» И Липка, подождав, пока тронется поезд, неторопливо бежала домой иноходью.

– Как мустанг-иноходец? – уточнял Антон.

– Именно. Шаг у неё был широкий, красивый, мерный. Ходила она только под седлом, верховых лошадей у нас никогда не запрягали.

Мальчик являлся единственным имуществом кооператива и его основой. «Транспорт – наше всё», – говорил отец. Или, привезя на Мальчике очередной воз: «Солома решает всё».

Жил Мальчик у Саввиных – Стремоуховых. Остальные члены «Будённовца» не знали не только как ухаживать за конём, но и как его запрягать. Профессор Резенкампф, ссыльный ленинградский немец, собираясь воспользоваться тягловым средством кооператива, вынимал кожаную записную книжку с золотым обрезом, укреплял её на воротах и начинал запрягать, справляясь с чертёжиком, который нарисовал со слов отца. И делал всё вполне успешно: под чересседельник не забывал подкладывать потник (сушившийся у печки, отчего в комнате всегда пахло лошадьё), даже перед затягиваньем подпруги заправски пихал коня кулаком в брюхо, чтобы тот выпустил воздух, – пока не доходило до хомута. Хомут в своём рабочем положении, то есть клещевиной вниз, не налезает на конскую голову. Его надо перевернуть и, надев, уже на шее перевернуть обратно, после чего клещевину можно стягивать супонью. Отец, обычно присутствовавший при процессе как консультант, молча переворачивал хомут, надевал и снова переворачивал. «Думкопф!» – бил себя по лбу профессор и делал помету в книжке; в следующий раз всё повторялось.

Летом Мальчик обеспечивал сенокос, возил тяжёлые возы. Воз с сеном отец умел пригнести бастрыком и увязать конопляной верёвкой дедова производства так, что, когда однажды при виде колонны красноармейцев Мальчик шарахнулся и телега опрокинулась, сена не вывалилось ни охапки, солдаты поставили телегу на колёса, и воз покати́л дальше. На пырее и лесном разнотравье Мальчик глажел, шерсть начинала блестеть, и дед, чистя его, кричал от удовольствия. Антону казалось, что коню больно от железной скребницы, но дед говорил, что шкура у него толстая, как подмётка, и ему только приятно. Мальчик действительно довольно пофыркивал, и Антон декламировал в такт: «Скреб-ни-цей-чи-стил-он-ко-ня». Из лезлой шерсти, набивавшейся в скребницу, получались вполне приличные мячики, которыми можно было играть в лапту, – о резиновых только слышали.

Антон на покос стали брать, когда он учился в старших классах. Делянки нарезали далеко; выезжали на неделю-две, жили в шалаше. Косили всегда с коллегой отца – преподавателем педучилища. До войны он состоял редактором местной газеты, но допустил политическую ошибку и чудом избежал ареста – только потерял должность. Фамилия его была Улыбченко. Это был маленький человечек, который никогда не улыбался. В войну он попал в плен, но, пройдя все фильтрационные советские лагеря, был отпущен и даже преподавал литературу. Однако, когда вскоре местному НКВД спустили разнарядку на двух человек по линии связи с зарубежными разведками, Улыбченко оказался первым и бесспорным кандидатом. (Вторым стал пенсионер – офицер русского экспедиционного корпуса во Франции в Первую мировую войну.)

Всю жизнь Улыбченко писал диссертацию «Пословицы и поговорки»: до посадки – «в трудах И. В. Сталина», после – «в докладах и выступлениях Г. М. Маленкова», затем – «в речах и беседах с народом Н. С. Хрущёва». В последний раз, когда его, уже седого, Антон встретил во дворе МГУ на Моховой, он прикреплялся к кафедре русского языка, чтобы писать диссертацию «Пословицы и поговорки в трудах Л. И. Брежнева». Косил он хорошо.

Улыбченко считал, что Антон тоже косит хорошо, отец же говорил – «на хорошую тройку». Практики, конечно, было маловато. Антон считался на подхвате – собирал сучья для костра, мыл посуду, ездил на озеро Котуркуль за водою. Воду он возил в маленьком пузатом бочонке на багажнике велосипеда Улыбченко. Подразумевалось, что весь обратный путь Антон велосипед ведёт, ибо при езде с полным бочонком по просёлку можно упасть. Но Антон обратно тоже ехал, а сэкономленное время использовал для неторопливого купанья в прозрачном, как слеза, озере. Однажды, когда отец косил на дальней делянке, Антону вдруг стало так тоскливо и захотелось домой, что он, приколов над входом в шалаш записку, бежал и к ночи

был уже дома; никто не поверил, что 14-летний мальчишка все двадцать километров проделал пешком.

Услыхав, как Антон, по своей любви к переделкам, напевает под нос вместо «беззаветно»: «И родину нашу всегда безнадежно любить», Улыбенко сказал: «Интересное совпадение. На одном допросе я сказал, что люблю родину. Смершевец злобно смеялся: надо, чтобы она вас любила, предателей. И был прав – наша любовь действительно оказалась неразделённой».

По вечерам у костра Улыбенко рассказывал про концлагеря. В советских жилось голодней – в немецких всем несоветским пленным поступала помощь от Красного Креста и ещё откуда-то (наше правительство от всякой подобной помощи отказалось), союзники делились, особенно французы и особенно после того, как выяснилось, что Улыбенко считает Наполеона величайшим человеком. Антон тоже считал его величайшим и поэтому Улыбенке прощал многое – даже то, что тот будил его в шесть утра бодро-отвратительным пением: «На зарядку! На зарядку! На-зарядку-на-заряд-ку... становись!!!»

Бонапартизм Антона начался ещё до школы, когда дома пели «По синим волнам океана». При словах «Лежит на нём камень тяжёлый, чтоб встать он из гроба не мог» у Антона набегали слёзы, но когда пели про маршалов, которые ему изменили и продали шпагу свою, от обиды за императора и злости на маршалов слёзы высыхали. Пели и другую, тоже очень хорошую песню (написанную каким-то Соколовым в тот же год, что и «Бородино») «Шумел, горел пожар московский» про то, как Наполеон в сером сюртуке стоял на кремлёвских стенах: «Он видел огненное море, он видел гибель впереди, и призадумался великий, скрестивши руки на груди». Ещё там были такие замечательные слова: «Судьба играет человеком, она изменчива всегда, то вознесёт его над веком, то бросит в бездну без стыда». Из деда, отца, соседа Гройдо Антон постепенно вытряс всё, что они знали об императоре, даже бабка припомнила два анекдота из французской хрестоматии, разрешённой для вечернего чтения в институтах благородных девиц. Правда, одновременно Антон любил врага Наполеона – адмирала Нельсона (это напоминало Антону раздвоение его чувств между Клавой и Валею и сильно его смущало). Сигнал, который адмирал поднял на мачте перед Трафальгарским сражением, стоил знаменитых наполеоновских приказов: «Англия ожидает, что всякий исполнит долг свой». Книга Тарле «Наполеон», подsunутая отцом, стала откровением. Надолго хватило размышлений, что было б, осуществись намерения молодого Бонапарта перейти на русскую службу.

– Он выиграл сорок сражений, – говорил Антон навестившему косарей Гройдо, говорил взволнованно: сосед не разделял любви к императору. – Это понятно: великий полководец. Но он составляет Кодекс Наполеона, по которому до сих пор живёт Франция! В горящей Москве он подписывает устав Комеди Франсез, который и сейчас действует в этом театре! Он расширил представление о человеческих возможностях вообще. Он...

– История причудлива, – задумчиво сказал Гройдо. – Мог ли кто представить, что не герой Стендаля, не русский поэт пушкинской поры, а юноша в сибирско-казахстанской деревне через сто тридцать лет будет с таким чувством говорить об императоре французов!

И не раз позже, с тем же задумчивым любопытством поглядывая на Антона, спрашивал бывший присяжный поверенный Борис Григорьевич Гройдо:

– Ну что, студент-историк (аспирант-историк), какие мысли об узурпаторе посещают нас теперь?

И Антон, не растеряв горячности, отвечал:

– Вопросы. Почему именно он узурпировал тему вставания из гроба? Почему она вдохновляла и Зейдлица, и Гейне, и Жуковского, и Лермонтова? Может, это и есть подлинное величие – все ощущают странность того, что такое сверхчеловеческое могущество ушло в землю? И подсознательно не желают с этим смириться?

Бабкиной знакомой и Антоновой частной учительнице английского миссис Кошелевой-Вильсон в Карлаге один француз рассказал про черепаху Наполеона. На острове Св. Елены император после обеда всегда выходил в сад покормить небольшую галапагосскую черепашку, которую очень любил. Он щёлкал пальцами, черепаха выползала на дорожку и съедала с его ладони крошки и кусочки фруктов; он сосредоточенно-пристально смотрел, как она медленно, долго уползала обратно, и не уходил, пока она не скрывалась в траве. И теперь, когда на остров приезжают редкие туристы, гид, поведя их по последнему дому Наполеона, в конце экскурсии раскрывает дверь в сад. Туристы высыпают на песчаную дорожку. Гид сначала объясняет им, как долго живут черепахи: черепаху Туи Малилу, здравствующую и по сей день на одном из островов Тонга, островитянам подарил в 1772 году капитан Кук; сменявшиеся настоятели прихода Питерборо в Англии 250 лет держали при церкви одну и ту же черепаху. Потом гид щёлкает пальцами, раздаётся треск веток, тяжёлое шуршанье, и из кустов показывается огромная, величиной с прогулочную лодку, галапагосская черепаха. Гид опять щёлкает пальцами, черепаха вытягивает из-под панциря длинную морщинистую шею.

– Вы видите, господа, – почти шёпотом говорит гид, – последнее живое существо на планете, которое помнит Великого Императора.

Публика затихала, французы плакали. Черепаха поводила полуслепой головой, потом медленно втаскивала её обратно в панцирь и застывала, как подбитый танк на поле боя.

В 150-летнюю годовщину смерти Наполеона прошёл слух, что черепаха ещё жива и по-прежнему выползает, совершенно ослепшая, с головою, покрывшейся какой-то белой плесенью. В самый день Антон читал дочке Даше: «Чудесный жребий совершился: Угас великий человек, В неволе мрачной закатился Наполеона грозный век» – и рассказывал ей про черепаху императора; Даша слушала и моргала своими глазищами.

Когда в отделе академического института, где работал Антон, обсуждалась его плановая работа «Из истории бонапартизма в России» и профессор Молчанов сказал, что отмеченные коллегами недостатки естественны, поскольку автор занимается этой обширной темой слишком недавно, автор в запальчивости сказал: давно – двадцать лет.

– То есть, если не ошибаюсь, с тринадцати лет? – тонко улыбнулся профессор.

– И даже раньше!

Антон послали за хворостом для костра – надо было накормить гостя. Под это дело Антон решил заглянуть на позавчерашний покос, где он примечал много земляники. На поляне почему-то стояла телега, запряжённая низкорослой мохнатой лошадкой, и какой-то мужик, торопясь, наваливал сено – их сено! Антон, пятась и ступая, как Кожаный Чулок, скрылся за кустами и опрометью помчался к шалашу; через минуту отец уже бежал впереди Антона, держа наперевес вилы, как участник крестьянского восстания Болотникова, – и успел схватить под уздцы отъезжающую лошадь. Мужик спрыгнул с воза тоже с вилами и попытался пырнуть ими отца – тот отбил. Мужик сделал ещё выпад – отец отбил с лязгом. Антон раскрыв рот смотрел на это фехтование. Отец кинул на него короткий взгляд (Антон долго его вспоминал) и закричал мощно: «Трофимыч! Григорыч!» Услышав, что есть ещё Трофимыч с Григорычем, мужик бросил вилы, отскочил за куст и, быстро соорудив удивлённое лицо, забормотал:

– Дак я как? Смотрю – сенцо ничьё, можа, думаю, не вывезли, дак я что...

Прибежал Николай Трофимыч, за ним не торопясь шёл Борис Григорыч. Мужика бить не стали, но заставили отвезти ворованное сено к главному стогу, да перевезти туда же ещё две копейки. С транспортом было туго, Мальчика вспоминали часто.

Но и когда Мальчик ещё существовал, сена на целую зиму всё равно не хватало, особенно когда на постое находилась корова профессора Резенкампа; покупали на базаре. Подвозили сено исключительно казахи. Косить они не умели и не любили, нанимали мужиков из ссыльно-кулацких семей, могучих косарей. Но казахам, хотя они тоже были колхозниками, разреша-



лось держать индивидуальных лошадей, то есть иметь транспорт, русские же вывозили сено на коровах, на себе (в двуколки впрягались всею семьёй), ощущая это как глубокую несправедливость; межнациональных отношений это не улучшало. Гройдо в бытность свою большим начальником по национальным вопросам стоял у истоков подобных указов и пробовал объяснять, что власть поступила разумно, исходя из национальных привычек степного народа, – его чуть не побили.

– А можа у меня тоже национальные привычки – не мене ихих! – насканивал грудью нервный Петя-партизан и шарил рукою у пояса. – У мово бати целый косяк был. Да не этих косматых – настоящих коней! А я не могу себе кобылу завести – к доктору съездить!

Неравенство было ликвидировано при Хрущёве, когда коней казахам велели сдать. Аксаклы, с трудом спешившись на исполкомовском дворе, обнимали своих низкорослых мохнатых лошадок и плакали. Лошадей по сходням загоняли в кузова грузовиков и куда-то отправляли.

Однажды дед выменял у Сабита целый воз сена на костяного божка, выкопанного на огороде. Этот божок, рассказывал Васька, друживший с сыном Сабита Карбеком, стоял потом у казахов на особой полочке и рот ему мазали жиром, а когда резали барана – кровью. Гройдо очень удивлялся: «А я и не знал, что у казахов до сих пор сохранились элементы язычества, считал – мусульмане».

Подражались и в колхоз, скирдовать – копнильщики с заскирдованного сена получали «нэпманскую десятину». Антон тоже скирдовал. Навильники он брал не меньшие, чем мужики, но уставал быстрее, от напряжения болели пузые мускулы, как выражался Васька Гагин. Татарин Ахмет, учившийся ещё до войны у мамы в начальной школе и жалевший Антона, перевозил его на конные грабли – сгребать подсохшее сено в рядках. Работа нетяжёлая, надо только, сидя на удобном, тёплом от солнца дырчатом железном сиденье, вовремя подымать и отпускать рычагом огромные серповидные зубья граблей, опытный конь сам заворачивал в конце рядка. Но эта работа быстро кончалась, приходилось опять копнить. Особенно тяжело подавать на стог уже почти готовый, высокий. Во время перекуров Антон с чувством вместе со всеми пел: «Имел бы я стогометатель, он за меня б стоги метал. И ни хрена бы я не делал, а только б сено получал».

Зимой отец ездил на Мальчике в дальний колхоз, в Успенно-Юрьевку, там всегда под снег уходило невывезенное сено, которое колхоз задёшево продавал всем, кто отваживался его откапывать и через Степь, где не было езжалой дороги, перевозить в тридцатиградусный мороз с ветром.

В одну зиму снега было особенно много, и отец припозднился. Ехал в уютной сенной норе, наслаждаясь летним ароматом разнотравья. После набойливых городских, степная дорога, наезженная в самую меру, была ровна, покойна. Мальчик бежал, как всегда, вприпрыжку, неспешной побегой. Вдруг сзади в темноте появились жёлтые огоньки. Волки! Отец протянул Мальчика кнутом, что делал редко, тот надал, но воз был тяжёл, огоньки приближались. Отец зажгёт большую охапку сена и бросил на дорогу. Волки переждали, но потом опять стали нагонять. Отец зажгёт ещё сена и ещё. Ветер, дувший сзади, относил пылающие клочья иногда прямо в морду Мальчику, но боевой конь и ухом не вёл, а только прибавлял ходу, сколько было в его силах; отец знал, что их у старика немного. Сено быстро убывало; отец начал экономить, но маленькие клоки прогорали мгновенно или вообще гасли в снегу. Тогда можно было увидеть, что волки совсем близко; некоторые пытались забежать вперёд, обогнав сани по целине, однако мартовский снег был слишком глубок и рыхл. Всё равно дело было дрянь. Отец приготовил вилы. Но тут показались огни Каменного карьера. Волки отстали.

На Мальчике из роддома доставили маму вместе с новорождённой сестрой Наташей. Отец клялся, что Мальчик, увидев свёрток с младенцем, заулыбался и вёз телегу очень осторожно по глубокой – по ступицу – осенней грязи. Везя гроб одного из членов «Будённого», Мальчик двигался, скорбно опустив голову, и переступал копытами тихо и деликатно.

Антон это нисколько не удивляло – от коня он ожидал и не такого. Вальке Шелепову он рассказывал, что когда Мальчик служил в Первой конной Будённого, то вместе со своим хозяином попал в плен. Хозяин ночью лежал связанный, а Мальчик пасся рядом. Красноармеец тихо его позвал, конь подошёл, всё понял, поднял хозяина зубами за верёвку и ускакал с ним к своим. Сюжет Антон не выдумал, а только слегка подновил – подобная история случилась с арабским скакуном в Африке во время англо-бурской войны и вполне могла произойти и с таким умным конём, как Мальчик. Васька Гагин, узнав, что есть такая замечательная история, попросил рассказать её и ему, что Антон и осуществил, но опрометчиво сделал это в присутствии Вальки – опрометчиво потому, что на этот раз Мальчик служил у белых и в плен попадал к красным; произошёл конфуз. Антон, впрочем, был не сильно виноват: в общих разговорах кооператоров подчёркивался будёновский характер биографии Мальчика, но наедине отец не раз называл его колчаковской мордой. В этих красных и белых, как в купцах и колхозниках, Антон долго путался. Будённовцы были лихие кавалеристы, у них к тому же были тачанки-ростовчанки, но Сумбаев как-то, выпив, сказал, что лучшая кавалерия была у Шкуро, а потом выяснилось, что это белый генерал; Куркун рассказывал про каких-то дроздовцев, которые ходили в героический ледовый поход и тоже оказались белыми; с Махно было совсем неясно из-за его лозунга «Бей белых докрасна, а красных добела», да и тачанки изобрёл он; воевала в Гражданскую ещё какая-то Вторая конная Миронова, про которую вообще никто ничего не знал, кроме отца Вальки Шелепова, который в ней служил и говорил под большим секретом, что она-то и была самая главная.

Однажды летом, когда Мальчика выпустили попасть перед воротами на свежей после дождя травке-конотопке, он исчез. Уйти он не мог – не тот конь. Стало ясно: лошадь украли. Срочно собрали военный совет. Первое слово, как полагалось, дали самому младшему. Антон, встав, сказал, что изучил следы: трава ощирана больше слева от ворот, значит нашего Мальчика увели к Озеру, а там на большой лодке переправили на Зелёный остров, где и скрывают среди густых ёлок, они всегда так делают: под навесами ветвей привязали всех коней. Антона, как всегда, внимательно выслушали, но на Озеро почему-то не пошли: Тамара была отправлена к пармелънице, отец пошёл в Копай-город к чеченцам, дед – на казахскую улицу. Он и нашёл Мальчика. Конь стоял перед саманной мазанкой, привязанный к телеге и так укрытый какой-то рваниной, что сначала дед прошёл мимо, но, оглянувшись, увидел, что конь поворачивает в его сторону голову, полуприкрытую попоною. Дед вернулся и, приподняв другую попону, на забедре увидел тавро: колчаковский трилистник. Он сорвал с коня тряпки, но тут из воротец выскочил молодой высокий казах. Тогда дед взялся левой рукою за тележное колесо и телегу перевернул. Казах нашёл это убедительным и ретировался, а дед взял Мальчика за новый недоузок (трофей!) и привёл домой.

Из исполкома пришла бумага: имя – Мальчик, пол – муж. (мерин), паспорт – серия, номер (у всех лошадей, в отличие от колхозников, были паспорта), наряжался на трудгужповинность, прилагались нормы на тягловую единицу – верблюда, осла, быка, мула, мерина, кобылу жеребую (на неё норма снижалась). Согласно разнарядке на Мальчике предстояло вывезти тридцать хлыстов сырого леса – не уложиться за зиму. Кооператоры было заволновались, но выяснилось, что предусмотрительный Канцевич при покупке коня запаса документом, подписанным начальником геологического управления Омска и горветеринаром, где значилось, что лошадь комиссована по таким-то и таким-то статьям и как военной, так и трудмобилизации не подлежит.

К концу войны Мальчик пал на ноги – его после тяжёлой, с заносами мартовской дороги, не выстояв, опоил так и не научившийся обращаться с лошадьми Канцевич. Коня подвесили под крышей сарая на самой толстой матице на двух широких шкивах, которые одолжил мельник Шпара, – под грудь и живот; Мальчиковы ноги с опухшими бабками, костяно стучаясь

копытами, печально болтались над землёй – считалось, что так они отдыхают и конь оклемаётся.

Этого не случилось, Мальчика пришлось прирезать. Натекло два больших таза крови, которую запекли в русской печи, из мяса наделали котлет, и голодные члены кооператива «Будённовец» пировали до глубокой ночи. Пили водку, которую получил за сданную картошку преподаватель физики Гнидняк; картошку эту физик отвозил на Мальчике, а его зарезали и пили эту водку и ели котлеты. Канцевич, как рассказала на другой день его жена, ночью во сне два раза принимался ржать.

Прощальным приветом Мальчика были щётки, сапожные и половые, которые дед наделал из его длинного и густого чёрного хвоста; две недели мы прожигали раскалённым гвоздём дырки в тщательно оструганных дощечках; через отверстие пропускается пучок волоса, перегибается и просовывается в соседнее, под конец тыльная часть зажимается второй дощечкой. Одна из хвостяных щёток до сих пор служит мне – подобной по упругой мягкости и способности наводить блеск я не встречал даже у лучших в мире чистильщиков обуви – мрачных жуковатых ассирийцев у метро «Проспект Мира».

## 11. Бычаги

Второй после Мальчика по значению фигурой в саввинско-стремоуховском натуральном хозяйстве была Зорька. Когда старая корова перестала доиться и её пришлось сдать на мясо по госцене (взять мясо себе – тянуло на какую-то статью, оставлять разрешалось только шкуру), это была катастрофа. Все силы семьи напряглись: купить новую корову. Именно тогда продали патефон и мамину беличью шубу.

Выбирали долго, дед куда-то ездил, с тётей Ларисой они три воскресенья подряд ходили на базар и потом долго обсуждали достоинства кандидаток: глубину груди, высоту крестца. Особенно нравилось Антону «молочное зеркало». Ничего были и «седалищные бугры», но для шептанья перед сном они чем-то не подходили.

На второй месяц корову всё же купили, с белой звёздочкой на лбу, рыжую и большую, – видимо, с высотой в крестце всё было в порядке. Но один недостаток всё же нашёлся: корова была тугосисяя. Виноват в недосмотре был дед: на пробном сеансе ему показалось, что дойки у Зорьки нормальные.

– Нормальные! – горячилась бабка. – Для твоих-то клещей! А доить – не тебе!

– Раздоится, – благодушно возражал дед.

Раздаивалась Зорька долго, и бабка, придя с подойником, трясла как бы онемевшими кистями, если дед оказывался поблизости; когда дед рядом не случался, кистями не трясла.

Летом, когда Зорька ходила в стадо, главная забота состояла в том, чтобы она не осталась яловой. Это являлось условием главным, но недостаточным. Надо было точно знать день, когда Зорьку покроет бугай. Желательно было также, чтоб это не произошло в начале выпаса – тогда отёл получался ранний и время между молоками падало на разгар зимы, что считалось нехорошо; оптимальный срок – март. Кроме того, хотелось, чтоб Зорьку из двух бугаёв покрыв не Тимофей, а Василий (когда Антон увидел в действии его воспроизводительный орган, показалось, что он больше Антоновой ноги), к тому ж надо было знать, результативны ли действия Василия.

Как можно это всё подогнать и за всем проследить – было непостижимо, но всё как-то устраивалось: пастух, которого тоже звали Василием, сообщал Тамаре, что корова покрыта, и именно его тёзкой, и в нужное время.

Две-три ночи перед отёлом Тамара, дед и баба почти не спали, по очереди выходя к Зорьке: сарай был холодный, и телёнок мог простудиться; кроме того, его следовало унести сразу после появления на свет – если корова успеет телка облизать, она будет тосковать, мычать, убавит в молоке; отъёмыш быстрее привыкает к другой, кроме молока, пище.

Антон тоже плохо спал, боясь упустить момент, когда в чистой рогожке принесут малыша; его приносили, рыжего, мокрого, со слипшимися завитками на лбу, и долго вытирали той же рогожкой, одновременно бабка и Тамара осматривали его со всех сторон: есть ли белые отметины? Если нет ни одной, телок будет плохо расти и даже может издохнуть, потому что это чёртов скот. Когда после сотворения мира Бог создал животных, чёрту вздумалось ему подражать и он тоже создал овец, коз и рогатый скот, однако все они получились одноцветные: чёрные, белые, рыжие. Но телок оказывался с белой звёздочкой на лбу, как у Зорьки, и бабка с Тамарой умиротворялись.

Наконец телёнка оставляли в покое; все, измученные, уходили спать. Но он лежал не больше двух минут – начинал брыкаться и пытался встать. Это ему не удавалось, потому что на копытцах были белые хрящевые наросты («чтобы не повредить утробу матери», – объясняла окончившая ветеринарный техникум тётя Лариса), ноги разъезжались, он шмякался на пол, но снова и снова упорно вылезал из подлабочья и пытался подняться.

– Полчаса как родился – и уже встаёт! – не устал восхищаться дед витальной мощью Животного Мира. – А человеческий детёныш – и через полгода еле-еле!

Наросты на копытцах сразу снимать почему-то не полагалось, но когда их удаляли, телёнок твёрдо стоял на ногах. Вскоре он уже подходил к кровати и жевал одеяло; Антон щёлкал его по лбу, телёнок прядал ушами, но жевать не переставал.

Когда оказывались одни, Антон становился на четвереньки и принимался с ним бодаться, что строго воспрещалось; в разумности этого запрета Антон убеждался не раз, когда выросший телок сильно поддавал ему твердеющими шишками рогов под рёбра, но бодаться было слишком интересно.

– Человеческий детёныш, – говорил Тамаре Антон интонацией деда, – в семь лет слабее трёхнедельного телёнка!

Это сильно его удивляло, но дед рассказал историю про какого-то древнегреческого атлета, который каждый день носил на плечах телёнка вокруг дома; телёнок рос; однажды все увидели, что атлет несёт на себе быка.

Забот прибавлялось: надо было вовремя услышать журчавство и подставить баночку под струйку, льющуюся из-под хвоста тёлочки или низа живота бычка, держать миску с молоком, когда телёнок пил, следить, чтоб не сжевал чего-нибудь. Антон не уследил, и телёнок зажевал серебряную чайную ложечку, подаренную деду на зубок в день крестин его дедом, родившимся ещё в XVIII веке; на ручке была выгравирована дата и буквы Л. С. – Леонид Саввин. Ложку бабка отдала выправить Сухову, тот долго её не возвращал. Однако, когда бычка зарезали, не выдержал и явился с обновлённой ложкой. (Дед потом подарил её Антону, но в Москве соседка украла эту единственную вещественную память о деде; дороже у Антона не было в жизни предмета, о пропаже он всегда помнил и жалел так же остро, как в первый день.) Уплетая телячье жаркое, Сухов рассказывал, как ел волка и что именно у волка лучше всего есть. Телят резать не разрешали – их надо было выращивать, а потом сдавать в заготскот; все, однако ж, резали – то один, то другой одноклассник появлялся в новой телячьей шапке. Антон телятину не ел, у него наворачивались слёзы, все смеялись, не смеялась только Тамара, которая сама ночью тихо плакала.

Самой знаменитой была история о том, как Зорька провалилась в выгребную яму. Заполненная до краёв яма осталась после отхожего места; её сверху присыпали землёй; Зорьке этого не сказали, и она однажды туда провалилась. Яма была глубокая, над землёй торчала лишь рогатая Зорькина башка, вылезти корова не могла, только жалобно мычала. Позвали Гурку, Кемпеля, обмотали рога верёвкой, под брюхо подсунули слуги. Зловоние поднялось страшное; Кемпель зажал нос и бежал. «Немец, нежный», – сказал Гурка и пошёл звать кочегара Никиту.

Когда корову вытащили, зловоние ещё усилилось, хотя как будто дальше было и некуда. Больше всего боялись, что она вырвется и в таком виде убежит на улицу. Но умная Зорька стояла смирно. От колодца установили конвейер, передавая друг другу вёдра, вылили их на корову больше сотни, тёрли метлой, берёзовыми вениками, крапивой, картофельной ботвой и лопухами. Результат был нулевой. Кемпель из-за забора крикнул, чтобы протёрли керосином; зловоние, смешавшись с керосиновым запахом, стало сложным и тошнотворным. С наступлением темноты несчастную корову погнали на речку, ниже города по течению; с трудом затащили в стремнину, тёрли камышом и кувшинками; от Зорьки несло всё так же. Отправили её с Тамарой за речку, на всполье, где её обдует степной ветерок. Измученное животное Тамара пригнала лишь к вечеру. То ли ветерок помог, то ли ковыль и полынь, которыми там она тёрла Зорьку, – но стало пахнуть как будто поменьше. В стадо, однако, отправлять её было нельзя, и утром всё началось сызнова. Разожгли на дворе костёр под большим таганом, в котором шпарили кур и поросят, и стали мыть Зорьку тёплой водой с каустической содой – мыло как раз кончилось, а новую партию ещё не успели запустить. Сотни тысяч фламинго живут в какой-то пустыне на озёрах, состоящих из раствора каустической соды. Их ноги покрыты толстой

кожей, которую не разъедает этот ужасный раствор. По толстоте кожи Зорька могла с ними соперничать, но в остальном, видимо, нет – она брыкалась, взмывчивала, задела копытом чан, который рухнул в огонь, подняв адский столб пара и дыма. Молоко пришлось несколько дней отдавать Буяну, что он хорошо запомнил и потом всегда присутствовал при дойке – лежал у двери, облизывался. Уходил только после того, как бабка говорила: «Видит сука молоко, да рыло коротко». Но в следующий раз опять появлялся точно к началу: видно, издаля слышал, как первые тугие струи молока звонко бьют в жестяное дно подойника.

У кого-то из отбывших ссылку купили старый немецкий сепаратор. Из одной трубки капали сливки, из другой – толсто лился обрат, обезжиренное молоко противного голубоватого цвета, которое шло в пойло всеядцу кабанчику Ваське (такую жидкость через много лет Антон обнаружил в парижском супермаркете, цена была как у нормального молока).

Молока Зорька давала много, ибо содержалась по последнему слову предвоенной немецкой науки – тогда дядя Коля прислал из Саратова свой перевод, сделанный для тренировки в языке, брошюры какого-то известного германского скотовода. Учёность немца поражала. Из брошюры можно было узнать, что если корова ест в темноте (а в Чебачинске все стойла были полутёмные), то корм усваивается хуже, а если животное хорошо видит содержимое яслей (освещённость 50–70 люкс), то корм усваивается намного лучше и идёт его на треть меньше. Поэтому, когда в дом провели электричество, над яслями повесили большую стосвечовую лампу и в стойле стало веселее. Свиньям, по мнению немца, достаточно 5 люкс, поэтому в свином хлеву лампочку не повесили. Про коней немец не писал ничего, поэтому Мальчик обходился маленьким сарайным окошком.

– Тётя Лариса, – спрашивал Антон, бывавший на ферме колхоза имени Двенадцатой годовщины Октября, где слепая пыльная лампочка была на двадцать стойл, – а почему вы не скажете в колхозе про свет?

– Чудак ты. Кто же станет следить, включать-выключать? Они и кормёжки-то пропускают. Да ещё Дубяга скажет: фашистская наука. Ну их к чертям собачьим.

Было ясно: в колхозе не будут и выгонять коров загорать, что делали у нас в каждый солнечный день, начиная с февраля. От этого у Зорьки увеличивалось в крови количество гемоглобина, кальция и неорганического фосфора, надой становился больше, а содержание витамина D в молоке повышалось вдвое.

У соседей коровы давали мало – может, потому, что многие использовали их как тягловую силу – возили на них сено, дрова, под ярмом они ходили не хуже быков. У одноклассника Генки-корсиканца корова в этом качестве использовалась всё лето, зато и молока давала как коза, вымени не углядеть, а дойки были не длинные и розовые, а сморщенные и жёлтые.

Возить на Зорьке, конечно, не могло и в голову прийти. После смерти Мальчика с двора техникума брали быков. Ездить на них было непросто. Обычные команды – «цоб-цобе» (направо-налево) приходилось сдабривать густым матом, его быки считали за составную часть команды и без него не шли. Поэтому, чтобы выехать со двора техникума, педагогам приходилось разгонять своих учеников, а учительниц просить прогуляться куда-нибудь подальше. Ввиду отсутствия автомобилей быки служили основным транспортным средством при перевозке тяжёлых грузов. На них ездили даже в областной центр – за сто километров. Но ехать приходилось не по прямой, а по ломаной линии, от колодца к колодцу, получалось километров на двадцать поболее, поэтому дорога занимала три дня. Ночевали в степи, хорошо если попадался саксаул для костра.

Слушались быки как следует только своих – с остальными были упрямы и капризны – бычаги. Василий Илларионович, которому пришлось однажды отвозить на них ящики с геологическими образцами, вернулся измученный и потом полдня ругался.

– Мерзкие животные! Тупы, как бегемоты. Недаром Христос изгнал из храма тех, кто их продавал, – видно, были такие же, как их собственность. Не пожелай, – Василий Илларионович

возвышал голос, чтоб слышал дед, – жены ближнего, ни вола его. Что за чепуха, извините! В страшном сне не приснится желать этого вола. На кой чёрт мне эта упрямая скотина?

Мне, несмотря на разгар экзаменов за девятый класс, поручили отвести на хоздвор огромного чёрного быка Черномора, на котором нам только что привезли уголь. «Ехать – не справишься, – сказал отец. – Веди за верёвку». Я, натурально, не послушался и поехал: поб-побе! В середине дороги из ярма выпала железная заноза, оно разомкнулось, и освобождённый бык убежал вперёд. Делать было нечего, я впрягся в оглобли, водрузил на шею тяжёлое ярмо и двинулся в путь. Ярмо давило и било по затылку, несмазанная телега шла плохо, в довершение всего с неё свалился массивный угольный ящик. Какой-то мужик помог поставить его обратно. «Чего сам-то надрываешься?» – «Бык убежал». – «Сходи на хоздвор, приведи». Этого сделать я не догадался. Но оставалось уже немного. Замученный, чёрный от угольной пыли, с потёками пота на лице, я был ужасен.

С Черномором я познакомился давно. Однажды на скирдовке в колхозе он проел бок нашего сенного шалаша и съел весь горох, всю вермишель, муку и – самое обидное – два килограмма сахара; довольный, с белой от муки мордую, лёг отдыхать.

Темперамент Черномор имел не воловий, а бугаев, накормить же его вообще не представлялось никакой возможности. Ляксеич, скотник хоздвора, и так давал ему больше других быков, но он, сжевав всё, стучал огромным рогом в стену, требуя добавки. Опасаясь за сарай, Ляксеич приносил ещё охапку. Однажды, когда не принёс, бык напёр на ворота, они не выдержали, и бежал. Он хорошо знал куда: за речку, откуда накануне Ляксеич трижды из длинной, как шестиосный вагон, скирды привозил на нём солому. Ляксеич догадался и нашёл Черномора, но пригонять не стал, а пришёл за ним только утром, и с тех пор начал тайно по вечерам выпускать быка на промысел.

Это было небезопасно: к скирдам, предупредил друг Ляксеича, егерь Оглотков, наведываются волки. Но тот же Оглотков вскоре с восхищением рассказывал, что он наблюдал со своей вышки в бинокль. Когда егерь туда взобрался, уже сильно за вечерело, но – полнолуние – всё как на ладони. Черномор успел проесть в скирде приличную ямину, куда его голова с шеей ушли по самую холку. Показались волки. Они всегда обследуют стога: туда зимой прискакивают подкармливаться зайцы, на набеганные мыши ниточки приходят мышковать лисицы и ласки, да и сами волчишки не прочь закусить мышкой – вон, в тундре есть район, где много волков, а никакой живности нет. Учёные удивлялись. Но когда располосовали брюхо трём-четырёх волчарам, удивляться перестали: оно оказалось набито мышами. Черномор, учуяв волков, повернулся, вжался задом в проетую яму и набычил башку со своими рогами.

– Таких нет боле ни у какого быка в Чебачинске, – говорил Ляксеич. – А может, и вопче. Как коромысло.

Волки поместились напротив, сидят, подтягивают, вытянув морды. Один наконец решился, но, поддетый рогом, отлетел на несколько шагов и остался лежать на снегу. Повторить попытку никто не с хотел, и они убрались восвояси. Но Черномор ушёл не вдруг, а дождался, когда на дороге показался санный обоз из Котуркуля – они каждый день к ночи проезжают, и пристроился к нему.

– Так что можешь отпускать своего обжору.

И Ляксеич отпускал. Но волки – недаром говорят, самый умный зверь – оказались хитрее. Всё, что произошло, по следам прочитал егерь Оглотков. Накануне сильно бурило – бушевала та знаменитая шурга, которая замела в Степи двухметровым слоем снега целый обоз. Когда лошади, обессилев, остановились, обозники по старому степному обычаю задрали вверх оглобли – по их верхушкам и отыскиали утром обоз. Этим бураном с северной стороны на стог наметелило пологий пандус, волк, как на горку, взобрался наверх и прыгнул прямо на стоящего в забуранной стороне Черномора, наверно, прямо на шею. А для волка главное – добраться до горла. Рвёт его он мгновенно. Так погиб самый сильный бык Чебачинска Черно-

мор. Остались от бедного рожки да ножки, рожки да ножки, да кончик хвоста. Необычайного размаха его рога Ляксеич прибил на стену воловника и вешал на них свою несносимую, ещё лагерную, телогрейку.

Зорька была корова многодойная, после отёла давала почти ведро, но – с норовом: то сбежит из стада и её потом до ночи ищет Тамара, то, видимо в отместку, перестанет подпускать доиться.

И всё равно наша Зорька не шла ни в какое сравнение с гулёной Манькой – коровой Усти. Своих животных Устинья принципиально не кормила. Про Букета говорила: «Пёс – раздобудет» («Пёс животное умное, сам найдёт себе пропитание», – уточнял про себя Антон тургеневской фразой из учебника русского языка). И Букет действительно прокармливался сам. Например, сидел возле нашей кухни часами и глядел на окно. Сердце бабки не выдерживало, и она выносила ему чего-нибудь в плюшке.

Манька от Букета не отставала. Огород Усти спускался к речке. За речкой, у воды, росла колхозная поливная капуста. Когда кончался выпас, а есть корове было надо, Устя выжидала до сумерек, а потом выпускала Маньку. Та переходила речку и устремлялась к капустным грядкам; капусту она поедала с удивительной быстротой, так что, когда появлялся конный сторож всех колхозных огородов Иван, ущерб она успевала нанести большой. Завидев Ивана, Манька скачками спускалась к речке, но не к броду, где у конного сторожа было бы преимущество, а к Чёрному Омуту, бросалась в воду и была такова – ни мерин Ивана, ни сам Иван не любили водных преград. Когда ему на это пенял бригадир, Иван, инвалид войны, ворчал: «Один раз переправился – через Вислу. На всю жизнь хватило». Корову Усти украли, считалось – чечены, кто-то видел одного, бродил накануне возле её плетня.

В нашем хлеву стояло две коровы, вторая была профессора Резенкампа; его жена, хоть и бывшая его домработница, за коровами ухаживать не умела, учиться доить пробовала и бросила и определила корову на постой к нам, потому что у вас сарай большой, а подоить можно заодно со своею.

Корову разрешали держать только одну, и дед ходил вместе с Резенкампом в исполком, где тот объяснял, что вторая – его. Профессор никак не мог понять, почему нельзя иметь двух коров, кому от этого вред.

– А кому вред, если бы остались и единоличники? – мрачно парировал дед, и глаза его недобро сверкали, как всегда, когда он говорил о колхозах, крестьянах и советском строе вообще; ни разу не видел я, чтобы они сверкали так, когда речь шла об отдельных людях – даже о бандитах, энкавэдэшниках и академике Лысенко.

Возни с двумя коровами много, но был и прибыток – навоз. Кроме удобрений, он шёл на кизяк, для чего навоз складывали в кучу, где ему предстояло перегореть, и в самом деле в середине лета почти горел, от него струился синеватый как бы дым, куча становилась горячей. Мама-химик объясняла, что идёт процесс окисления, ибо горение – тот же процесс, только более интенсивный. Кучу потом вскрывали, долго месили навоз босыми ногами, по икры в грязно-коричневой жиже, иногда он так жёг, что приходилось отскакивать. Антон тоже месил, когда не было дома мамы – она боялась, что там окажется стекло и Антон умрёт от заражения, как дочка Нины Ивановны. Потом формовали большие кирпичи и ставили их сушиться в красивые пирамиды. Горел кизяк не очень хорошо, дымно, но бесплатно и не содержал окислов серы и азота; если б Европа отапливалась кизяком, там не шли бы кислотные дожди и на месте знаменитых елей Шварцвальда не стояли мёртвые скелеты деревьев, удивлённо протягивающие иссохшие ветки к голубому предательскому небу.



## 12. Натуральное хозяйство XX века

Мальчик и Зорька были основой мощного и разветвлённого хозяйства Саввиных – Стремоуховых. Выращивали и производили всё. Для этого в семье имелись необходимые кадры: агроном, плотник и шорник (дед), химик-органик (мама), дипломированный зоотехник (тётя Лариса), повар-кухарка (бабка), чёрная кухарка (тётя Тамара), слесарь, лесоруб и косарь (отец). Умели столярничать, шить, вязать, копать, стирать, работать серпом и вилами. Бедствиям эвакуированных не сочувствовали: «Голодаю! А ты засади хотя бы сотки три-четыре картошкой, да капустой, да морковью – вон сколько земли пустует! Я – педагог! Я тоже педагог. Но сам чищу свой клозет». Самой низкой оценкой мужчины было: топора в руках держать не умеет.

В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать всё.

Огород деда, агронома-докучаевца, знатока почв, давал урожаи неслыханные. Была система перегнойных куч, у каждой – столбик с датой заложения. В особенных сарайных убегах копилась зола, гашёная известь, доломит и прочий землеудобрительный припас. Торф, привозимый с приречного болота, не просто рассыпали на огороде, но добавляли в коровью подстилку – тогда после перепревания в куче навоз получался особенно высокого качества. При посадке картофеля во всякую лунку сыпали (моя обязанность) из трёх разных вёдер: древесную золу, перегной и болтушку из куриного помёта (она стояла в огромном чане, распространяя страшное зловоние). Сосед Кувычко острил: пельмени делают из трёх мяс, а у вас лунки из трёх говн, намекая на то, что перегной брали из старой выгребной ямы, да и зола тоже была экскрементального происхождения – продукт сжигания кизяка. Другие соседи тоже смеялись над столь сложным и долгим способом посадки картошки, простого дела, но осенью, когда Саввины на своём огороде из-под каждого куста сорта лорх или берлихинген накапывали не три-четыре картофелины, а полведра и некоторые клубни тянули на полкило, смеяться переставали.

Про приусадебные участки друг друга знали все – кто что сажает, какой урожай. Обменивались сведениями и семенами; в горячую пору, если кто заболел или кого взяли на фронт, помогали вскопать огород, вырыть картошку. Огород был всем и для членов колхоза «Двенадцатая годовщина Октября», которым по трудодням платили какую-то чепуху (от колхозницы Усти я и услышал стих про советский герб: «Хочешь жни, а хочешь куй – всё равно получишь...»), и для учителей, зарплаты которым не хватало, и для ссыльных, которых в любой момент могли уволить. После службы, после колхоза все копались на своих огородах дотемна; заборов не было – соседи-межаки подходили, здоровались, разговаривали, опершись на вилы-шестирожки (мягкую землю картофельных делянок лопатой не копали). И – работа до седьмого пота; вся любовь к земле, полю, пашне, вся древняя поэзия земледельческого труда переместилась на огород.

На нашем огороде росло всё. Тыквы выбухали огромные, до шести пудов – делалось понятно, как такую волшебница в «Золушке» превратила в карету. Очень сожалел дед, что на приусадебных участках почему-то запрещали сеять зерновые.

Сахар исчез из магазинов в первый же день войны. Мама для детей иногда покупала у спекулянтов (одно из первых товарно-социалистических недоумений Антона: а они-то где брали?) стакан за сто рублей (учительская зарплата составляла тысячу триста). Пересыпала его аккуратно в особенный мешочек. Дед почему-то всегда оказывался рядом, говорил:

– Мне сахар полезен.

Вздыхнув, мама отсыпала ему ложку или две.

Надо было налаживать сахарное производство. Засадили солнечную сторону огорода сахарной свёклой. Всё лето сушили и строгали, подгоняя заподлицо доски для пресса; лучше всего были нарезанные Переплёткиным болты: ласточкин хвост. Сахар почему-то не делали, а

вытомляли коричневую патоку, но Антону она нравилась даже больше. Потом он не раз хотел сделать такую патоку для дочки, но как-то не собрался. Однако технологию запомнил на всю жизнь – со слов бабки, которая настойчиво делилась всякими рецептами; в её глазах стояло постоянное удивление, почему все не работают так, как её семья, – ведь вполне можно прокормиться в самое голодное время.

Приходил гость – из очередных бабкиных прихлебателей, как называла их тётя Лариса. Его поили морковным чаем.

– С сахаром? – хлебнув глоток, удивлялся гость, уже забывший вкус этого продукта.

Бабка объясняла: нет, с патокой. И тут же излагала рецепт. Сахарную свёклу, нарезанную мелкими кусочками, положить в глиняную посуду, плотно закрыть и поставить в русскую печь на два дня. Получится тёмная (почти чёрная!) масса. Её процедить сквозь ткань (ежели у вас остались от старого времени ветхие простыни голландского или биельфельдского полотна – лучше всего!) и хорошо отжать (у нас-то пресс, но можно и так). Сок налить в ту же посуду и поставить после затопки в печь. Когда он станет густой, как кисель, – патока готова. Из десяти фунтов сахарной свёклы выходит два-три фунта патоки. Из простой свёклы тоже можно, но получается меньше – фунта полтора. Если хотите хранить долго, добавьте одну-две ложки соды.

Гость, попивая сладкий чай, вежливо слушал, но всем, кроме бабки, было очевидно, что идеи выращивания сахарной, равно как и обычной свёклы, её двухсуточного томления в печи, отжимания и проч. от него далеки, как небеса.

Прихлебателей было несколько. Главного я запомнил особенно хорошо. Фамилия его была Сухов. Это был высокий худой мужчина с голодным блеском в глазах. Он садился и сразу начинал разговор про еду, про голодные времена, коих он в советское время насчитывал четыре. Бабке тема была близка: её самый младший, восьмой ребёнок умер в двадцатом году, когда у неё не стало молока; невероятными усилиями она сохранила детей во время голода на Украине в начале тридцатых. Рассказывала, как ели лебеду, крапиву, корни лопуха. Сухов слушал мрачно.

– А волка – вы – ели? – замогильным голосом спрашивал он. – Не – ели? Тогда вы не знаете, что такое настоящий голод.

Я представлял жуткие картины: Сухов поедает большого волка, такого, как на картинке к басне «Волк и журавль».

Второй прихлебатель – Лопарёв – месяца три жил у нас. Бабка нашла его на улице. Он лежал у дороги и просил: «Убейте меня! Мне нечего жрать – убейте!» Но желающих убить Лопарёва не находилось, как и желающих накормить, все проходили мимо, остановилась одна бабка, и не только остановилась, но и привела его к нам домой. Он рассказал, как где-то на севере пил тёплый тюлений жир («Добродушные лапландцы, – зашептал Антон, – распрягши своих оленей, мирно пьют из толстых кружек благотворный жир тюлений») и как его потом тошнило. Лопарёва бабка накормила и поселила в сарае, поила травяными настоями – у него после лагеря отекали ноги. Потом определила в сторожа поспевающего огорода, всегда страдающего от мальчишек. Лопарёв исправно сторожил, даже спал на тулупе подле огуречной грядки. Сторожить, правда, было особенно нечего: в том году огурцов оказалось на удивление мало; впрочем, это вскоре разъяснилось: сторож приторговывал нашими огурцами и – что особенно восхитило отца, увидевшего в этом особый воровской шик, – не утруждался торговать похищенным продуктом где-нибудь подальше, а продавал его прямо перед дверьми учебного заведения, где работали и хозяин, и хозяйка вверенного ему огорода. Оправившись, Лопарёв ухитрился устроиться сначала сторожем, а потом кладовщиком в райпотребсоюз и скоро стал неузнаваем: защеголял в поношенном, но дорогом костюме и велюровой шляпе. К старикам ни разу не зашёл. «Ведь она его спасла!» – удивлялась мама. «Как ви наивни», – говорила тётя Лариса.

Третий прихлебатель был электромонтёр Попов. Не успели мы привыкнуть к недавно проведённому электричеству, как оно стало постоянно гаснуть. Меня посылали за Поповым, ссыльным инженером, который жил в кладовке для протирной ветоши при электростанции. Он обувал кошки, лез на столб, свет загорался. Монтёра, натурально, кормили. Первое слово, которое сказала моя маленькая сестра, было «попов». Наблюдательная тётя Лариса заметила, что свет в нашем доме гаснет гораздо чаще, чем у соседей; но наблюдательность её простёрлась дальше – она связала эти факты с посещениями Попова. И стала усылать бабушку в другую комнату, когда после очередного включения на столбе заходил Попов, горячо его благодарила, долго трясла ему руку, но обедать не предлагала; так повторялось раза три. Свет гаснуть (а Попов приходил) перестал.

Тётя Лариса попросила деда придумать что-нибудь, чтобы отвести и Сухова: «Мама же ему свой обед отдаёт. Смотри, как похудела». И дед попробовал. Когда Сухов являлся, он выходил и вежливо говорил: «Извините, у нас сегодня постное. С волчатиной в последнее время туговато». Но это не помогло, Сухов ходить продолжал.

Одно время приходил местный священник, именно к бабушке, дед его не любил за необразованность: «Он же говорит „вечёра, послушник“ и в пасхальном каноне Иоанна Дамаскина – даже дети знают! – вместо „мертвые во гробех“ произносит „во гробах“, а в третьем антифоне вместо „воскресый из мертвых“ ухитряется пропеть „воскресный“, что вообще бессмыслица».

Была ещё немка, которая, видимо желая отработать ужин, вызывалась укачивать сестру Наташу, от неё в памяти Антона остались обрывки немецкой сказки, которую она рассказывала над зыбкой: «Schlaf, mein Aeuglein, schlaf, das Andere»<sup>3</sup>.

В один год особенно уродилась морковь, набили половину подпола, всю зиму ели морковный суп, тушили морковь в молоке, с луком, с картошкой, свёклой, мелконатёртую сушили на листах в духовке – для морковного кофе. Антон возненавидел варёную морковь на всю жизнь, только недавно перестал оставлять её на тарелке. Отвращенье, впрочем, не распространялось на морковку сырую. В журнале «Пионер» под рубрикой в красной рамке «Будущему лётчику» было напечатано: «Если ты всегда хочешь быть здоровым и сильным, ешь каждое утро сырую морковь». Печатному слову Антон верил беззаветно, сырую морковку ел и на здоровье не жаловался. Правда, и отец с мамой, и дед, и баба по морковке по утрам не ели, однако всю жизнь пользовались прекрасным здоровьем.

Из картошки делали крахмал, на нём варили кисель из всё той же моркови, иногда овсяный, для чего на жерновках мололи овёс Мальчика, – тот был ещё противнее. Часть крахмала шла на отцовские манишку, воротнички и манжеты, ослепительность которых поражала каждого нового эвакуированного преподавателя: местные учителя ходили кто в чём, даже – в морозы – в ватных штанах, вместо пальто – в дублёнках. Отец не считал возможным носить и валенки, ходил – по предвоенной моде – в кожаном пальто и белых фетровых бурках, которые Антон ненавидел, так как ему приходилось их чистить пемзой и отрубями.

Украли сохнувший в палисаднике дедов дождевик (считалось: чеченцы). Потеря ощутительная: деду приходилось проверять приборы на метеостанции в любую погоду. Дед достал папку с пожелтевшими вырезками из газет 90-х годов. Эту папку он давать не любил, потому что отец подтрунивал: «Хв́алите старый быт. А чему посвящена б́ольшая часть ваших вырезок? Способам определения всяких подмесей в сахарном песке, муке, молоке, масле или анилиновых красок в винах, а в красках – мышьяка и ещё чего-то там... Сплошное жульничество частных производителей!» Антон, почитав, тоже вносил свою лепту, приставая, почему мы не смешиваем баритовые белила с камедевой водой, чтобы пропитывать что-то с замечательным названием «манускрипты», или отчего не покроем во дворе все предметы составом из

<sup>3</sup> Спи, глазок, спи, другой (нем.).

углекальциевой соли, белого сподия, кальцированного хлористого натра, серы и магния. Ведь после этого предметы начинают фосфоресцировать ночью и не нужно выходить с фонарём!

Полдня дед перебирал ветхие вырезки и нашёл: чтобы сообщить ткани непромокаемость, нужно 1 фунт и 20 золотников квасцов распустить в 10 штофах воды и добавить уксуснокислую окись свинца. Квасцы дома имелись всегда, окись свинца маме ничего не стоило получить в лаборатории; пропитали чудодейственным составом старую крылатку, которую до этого дед не носил, чтобы не шокировать местную публику, но выхода не было; мама находила, что теперь он похож на Несчастливцева из спектакля Малого театра.

Отец в разветвлённом хозяйстве занимался самыми ответственными и тяжёлыми делами – заготовкой дров и сена. Лесник Шелепов, ведавший отводом делянок для косьбы, утверждал, что лучшего косаря не видывал. «Все прокосы его прогляди – ни одной выкоски». Отец же говорил, что на отчине, среди тверяков, считался косцом средним.

В какой-то год, кажется сорок второй, колхозникам летом не отвели индивидуальных покосов, чтобы не отвлекать их от работы на полях, по каковому поводу согнали на митинг. Заодно покосы не дали и всем остальным жителям Чебачинска, неколхозникам, кто на полях летом и не работал. Травы на лучших лугах вдоль Речки переставались и пропадали. Косили всё равно – на глухих полянах, а вывозили ночью, и сено можно было купить, но цены вспрыгнули невероятно. Именно тогда бабка продала свои и деда обручальные кольца – толстые, дутые, она никак не могла снять своё, палец ей поливали мыльной водой (холодной, чтоб не распарилась кожа), но оно всё равно долго не снималось. Продали и нательные золотые кресты, бабка долго крестилась пред иконой и плакала, а мама протирала их слабым раствором соляной кислоты, чтобы золото имело товарный вид. (После смерти бабки на дне её сундука Тамара нашла крестик – тоже золотой – в бумажке с надписью: «Антошин крестильный» – его она, видимо, не сочла себя вправе продать.)

Мне тоже обозначался фронт работ – в оврагах по-над речкой я заготавливал коноплю. Её требовалось много. Сушили её на крыше сарая (не кучей, а ворошками), потом трепали, мочили, отделяли волокна от остья, снова сушили; из волокон дед плёл и тонкие бечёвки, и толстые верёвки – почти канаты – необычайной прочности: «Что твой джут!» (Лыковые верёвки дед не одобрял: изведут на них остатки липового леска за Речкой, как ещё в позапрошлом веке перевели в лапти и верёвки липовые рощи по всей России.) Часть бечёвок натирали сапожным варом – зачем, я забыл, а спросить уж не у кого. Остатки конопельно-верёвочного производства тоже шли в дело: остьём и неиспользованными побегами обкладывали на зиму фруктовые деревья – мыши не выносят наркотического запаха мочёной конопли.

Было у меня ещё одно важное занятие, которое, правда, не поощрялось. Я делал свечи. Вытапливал в большой жестяной миске стеарин из каких-то спрессованных вместе с проволокою пластин и разливал его по сделанным из плотной бумаги трубочкам разного диаметра с натянутым внутри конопляным фитилём. Точность требовалась ювелирная: фитиль должен идти строго по центру будущей свечи. В разгар этой деятельности мне пришла в голову прекрасная идея – свечи делать цветными. На роль красителя я определил порошок с чуждым названием – «метилвайлет», который до этого шёл на чернила. Но растворённый в воде порошок со стеарином почему-то не соединялся, я его подогревал, густая фиолетовая пена заливала плиту. Когда оказалось, что поданный к обеду молочный суп имеет нежно-фиолетовый оттенок, отец макнул меня физиономией прямо в тарелку с этим супом.

Варить мыло считалось делом простым: щёлочь – NaOH да бросовый животный жир. Мыло, правда, получалось вроде хозяйственного, грязно-бледно-коричневое, вонючее, но функцию свою выполняло, хотя было едкое, и сильно намыливаться не рекомендовалось – по телу шли красные пятна; когда родилась сестра, для её мытья сварили из стакана сливочного масла кусочек другого, туалетного мыла.

Хлеб тоже пекли сами. По карточкам его давали раз в неделю, а то и реже, в остальные дни отоваривали пшеном, шрапнелью, пѳлбой (каша из неё Антону нравилась – за название). Сентябрь-октябрь в техникуме не учились, работая на уборочной (колхозников там в это время видели редко). Отцу и матери, выезжавшим со своими студентами, выписывали трудодни и как работникам, и как бригадирам (плюс один трудодень). За два месяца выдавали по два мешка зерна, которое возили на пармелъницу или, если она не работала, мололи на ручных жерновках (разовый измолот был невелик, но крутили по многу часов всей семьѳей), потом бабка пекла в русской печи хлеб. Но не сразу: мука должна с неделю созревать, чтобы залечились нарушенные внутриклеточные структуры и одновременно разложилась часть жиров с накоплением жирных кислот. Позже, в Москве, мама не уставала удивляться, почему батоны черствеют на второй день. Не может быть, чтобы специалисты не знали, что черствение связано с ретроградацией крахмала – его обратным переходом из аморфной в кристаллическую форму и что чем лучше хлеб пропечѳен, чем он пористей, чем больше в нём клейковины, тем медленнее он стареет. Наш хлеб был мягким неделю. Егорычев рассказал, как булочник Филиппов проверял работу своих пекарей: постилал салфетку и садился на булку или калач. Если изделие потом принимало прежнюю форму, значит хлеб хорош. Антону сильно захотелось сесть на тѳплый каравай, но бабка сказала, что это кощунство.

Самым тяжѳлым месяцем выходил январь, когда зерно, заработанное в колхозе, кончалось, корова – на издое, давала, как плохая коза, и переставали – от холода – нестись куры. Хлебая жидкий картофельно-луковый суп, отец приговаривал: «Казна-то вся истрачена, напитки прироспиты, ества сахарные все приедены». – «Ничего, – говорил дед, – мы просто Великий Пост передвигаем на январь». Несмотря на непрерывную, с утра до вечера, работу по пропитанию, жили всѳ же голодновато; я потом спрашивал, как жили те, кто так не работал, но на этот вопрос не мог ответить никто.

Кожевенным производством как химик руководила мама. Но сама обработка кож считалась делом мужским. И то: нижний, защитный слой всякой кожи – мездру, клетчатку стругали специальной приспособой наподобие рубанка-шерхебеля, только с полукруглым жалом, отточенным до такой остроты, что им можно было состругать шрифт с журнальной обложки, потом осаживали молотком. Антону как мужчине тоже разрешали постучать – киянкой, она деревянная, легче, но до сдиранья мездры не допускали – неосторожным движеньем кожу можно продырять, и тогда она уже годится только на стельки. Кожи делали сыромятные, как наиболее простые в производстве; мама готовила какие-то растворы, в которых они долго и зловонно вымокали, и говорила, что хорошо бы выделять юфть, но это была кожа комбинированного дубления, в котором присутствовал дѳготь, а дѳготь гнать как-то не собрались. А хром можешь выделать? – интересовался сапожник дядя Дѳма. Мама говорила, что конечно, но нет хромпика. Два дня Антон засыпал со словом «хромпик».

Резали ремни для сбруи Мальчика. Но, несмотря на всю химию, сыромятные ремни получались плохие, осклизлые, а затыг так затвердевал на морозе, что развязать его мог только дед своими железными пальцами; когда же деда дома не оказывалось, звали кузнеца Переплѳткина.

К концу войны все сильно пообносились, и было решено выделить несколько кож на сапоги. Ободранные и оббитые заготовки парили в растворах, в тѳплой воде, тащили гвоздями на вытяжной доске, сушили на ней же на печи, после чего мяли вручную – это мог делать только дед. После выгона шла зачистка – скобленье рашпилем. Затем заготовку дегтярили, потом опять сушили – уже под навесом, на ветерке. «Щиблеты из вашего матерьяла не стачаешь – не опоек и даже не выросток! – но на сапоги сойдѳт». Вскоре вся семья блаженствовала в непромокаемых сапогах, даже Антону сшили маленькие сапожки, их он очень берѳг: тайно мазал рыбьим жиром, который должен был пить по утрам, а перейдя грязную улицу, вытирал пучком травы или носовым платком, от чего его пыталась отговаривать Тамара: «Обратно пой-

дёшь – наново загваздаешь». Но Антон любил вещный порядок в каждый отдельный момент жизни.

Чувствительнее всего ощущалось отсутствие клея – без него невозможно было изготавливать всякие поделки из разрезного детского календаря и игрушки к Новому году. Из чего его только не делали – из крахмала, выварки рыбьей чешуи и телячьих копыт. Из всего клей получался равно скверный. Антон очень обижался на автора «Двух капитанов», который много раз упоминал про сильный клей, изготавливаемый в романе стариком Сковородниковым, но так и не сообщил рецепта.

Единственно, чего не производили в хозяйстве Саввиных – Стремоуховых, – самогона: мама считала, что на него уйдёт слишком много дефицитной свёклы, да и в тайне сохранить такое производство не удастся, дело же было уголовное.

Но водку можно было получить и легальным путём, сдав сколько-то мешков картошки. И в один год, когда картофель особенно уродился, отец повёз на Мальчике мешки – куда-то очень далеко. Вернулся он только вечером. За столом уже сидели званые и незваные – бабка, конечно под большим секретом, разболтала про водочно-картофельную акцию своим прихлебателям. Поскольку было неясно, когда отец вернётся, стол не накрывали; мужчины нервничали.

Открылась дверь, и в клубах морозного пара на пороге появился отец. Над головой он вздымал большой, двухлитровый и слегка кривобокий графин изделия чебачинского стеклозавода; за мутноватыми стенками у самого горлышка полоскалась жидкость. То была *она*.

– В мешках деньга и самогонка, – начал отец знакомую Антону нэповскую присказку, – и мы смеемся очень звонко!

С этими словами отец перегнулся через плечо низкорослого директора техникума и крепко поставил графин на середину стола. И тут случилось нечто ужасное. Донышко посуды местного производства целиком отскочило внутрь. Драгоценная жидкость хлынула на стол. Он по торжественному случаю был накрыт новой довоенной клеёнкой, и если сразу бы догадаться поднять её края кверху! Но все окаменели, как в немой сцене «Ревизора» в постановке маминого драматического кружка: кто с поднятой рукой, кто с открытым ртом. Когда все, сталкиваясь лбами, рванулись задирать клеёнку, было уже поздно. Спасти удалось не более стакана. «Никогда ещё мир не видел такого крушения великих надежд», – как было сказано в недавно прочитанном Антоном «Острове сокровищ» про пиратов, увидевших вместо клада золотых монет пустую яму.

Утраченная посуда не восстанавливалась. У Гагиных в главную эмалированную кастрюлю, сушившуюся на солнышке, вступила подкованная лошадь. В селпо из сосудов на полках стояли вазы только ночные. И с некоторых пор у соседей во время обеда в центре стола красовался зелёный горшок с ручкой, из которого хозяйка разливала суп. Маленькая сестра Антона, увидев знакомый предмет, захныкала: «Хочу на горшочек».

Вершиной хозяйственно-производственной деятельности клана было изготовление медицинского градусника. Старый, ещё дореволюционный, с медным наконечником вверху, бабка отдала одному из прихлебателей – только на час! больному ребёнку! – градусника в доме больше не видели.

Ртуть, большую и малую стеклянные трубки принесла из лаборатории мама, потом их заплавляли на примусе, дня три все повторяли замечательные слова: вакуум, шкала, градуирование. Совсем маленькой трубки не нашлось, поэтому градусник получился большой, вроде настенного. Впоследствии выяснилось, что у него есть ещё один недостаток. На шкале прежде всего следовало как исходную отметить нормальную температуру – 36,6. Бабка сказала, что за эталон можно взять температуру деда, который ни разу в жизни не болел. Так и сделали, шкалу отградуировали, градусник запаяли. Но оказалось, что это была роковая ошибка. В ближайший же визит Нины Ивановны, которая с собою всегда носила термометр, деда проверили, оказалось, что у него – 37,1. На больного он не был похож, поэтому Нина Ивановна не поленилась

прийти ещё два раза. Выяснилось, что для деда это – норма, что у него редко встречающаяся особенность – постоянная субфебрильная температура; про особенность он не знал, ибо температуру мерил впервые в жизни. Очень завидовал такому свойству случайно оказавшийся при сём Гурий – с ним он бы не вылезал из бюллетней. Переделывать градусник не представлялось возможным, и при измерении пользовались специальной таблицей, где в левом столбике было то, что показывает наш термометр, а в правом – истинная цифра. Плохо обстояло дело и со стряхиваньем, проще было исходную температуру вернуть, вынеся градусник ненадолго на мороз. Баба робко намекнула на комнатный термометр, но делать ещё один ни у кого уже не было сил. Успокоил всех старик, которого на несколько дней (как-то постепенно перетёкших в несколько месяцев) приютила баба и который всё время стремился быть полезным. Он сказал, что температура в комнате легко определяется с помощью сверчка с точностью плюс-минус один градус. Вы считаете до пятнадцати, а кто-то ещё – число сверчковых трелей. Что делать с этими цифрами дальше, я, к сожалению, уже забыл, но старику поверил безусловно – ведь он, как и сверчок, тоже жил за печкой.

Не было ваты, щипали корпию; бабка отнесла целый пакет в госпиталь, там взяли, но потом бабка узнала, что молодая врачиха отдала её корпию полумойке.

Но верхом мудрости Антону казалось составление календаря, чем дед занимался каждый год 31 декабря; рукописный календарь вывешивался вечером у него над тумбочкой. Было непостижимо, как можно узнать, в какие числа будет воскресенье, а в какие – понедельник, вторник. Если б в дом Саввиных – Стремоуховых попал англичанин, он бы подумал, что тут живут члены некоего общества в Великобритании, не пользующиеся никакими новшествами, появившимися после 1870 года.

...Трещит лучина, угольки, шипя, падают в узкое корытце с водой. Скрипит гусиное перо; время от времени дед чистит его перочисткой. Дед пишет гусиным пером не из-за особой любви к старине. Обычные перья в войну были редкостью, их выпрашивали у него внуки, которые свои почему-то ломали. Для писанья годится не всякое перо – только из маховых крыльев. Запас дед пополнял, когда из деревни приезжали на базар Попенки – ихние гуси были крупные, с мощным крылом. Перо он очинял перочинным ножиком; оно не походило на то огромное, которое на картинке держал в руке Пушкин, – бахрома обстригалась, а трубочка была не длиннее школьной ручки – именно так выглядели настоящие гусиные перья, которые дед видел у своего деда, Антонова прапрадеда, родившегося в один год с Лермонтовым. Перо втыкалось в песочницу, которая появилась по той простой причине, что не было пропускной бумаги; дед сам сеял песок, употребляя для этого мелкое мучное сито, что бабка считала негигиеничным, хотя он песок предварительно прокаливал на огне, а сито после использования мыл; присыпав написанный текст, дед ждал (жидкие чернила сохли плохо), потом, вытянув губы трубочкой, аккуратно сдувал песок обратно в песочницу, песок в ней, однако, почему-то всё равно убывал, что подвигало Антона на натурфилософские размышления.

При лучине сидели, когда ещё не провели электричество, а керосин в одну зиму в Чебачинск не завезли. Для лучины годится не всякое полено, а берёзовое, ровное, без сучков. Его сначала распаривали в большом котле, потом подсушивали (в доме всегда стоял аромат сохнущей берёзы), затем Тамара щепала его обломком косы, который так и назывался: лучиник. Если полено загодя не заготовили (на что дед сердился), то использовали сухую сосновую чурку. Сосновая лучина горела хорошо, но слишком скоро, трещала и рассыпала искры. Важен и угол, под которым лучина вставляется в светец, – маленький наклон даёт плохое, жёлтое пламя, а при большом лучина быстро прогорает.

– Дед, а светец где взяли, – спрашивал взрослый Антон, – неуж заказывали Переплёткину?

– Стал бы он такой мелочью заниматься. Дал кто-то, сохранил...

Электрическое освещение никто всерьёз не принимал – то не работал движок (не подвезли мазут), то вредил Попов, то перегорала лампочка, а новую взять было негде. Англичанка рассказывала, что в Америке в музее компании «Edison Electric Light» она видела лампочку, сделанную самим Эдисоном в 1895 году; лампочка горела уже сорок лет. Для элемента накаливания своих ламп великий изобретатель перебрал шесть тысяч растений, посылая эмиссаров на Филиппины и Огненную Землю; спираль в результате сделали из обугленного волокна японского бамбука. Англичанка не знала, горела ли сорок лет именно бамбуковая лампочка, но Антону хотелось, чтоб то была она; в бессонные вечера (спать он терпеть не мог и не засыпал часами) он думал об этой лампочке; недавно узнал – лампочка горит до сих пор.

Центром вечерней жизни была керосиновая лампа-молния, медная, на высокой ножке, венской фабрики Дитмара и братьев Брюннер, десятилинейная. Дед объяснял: нумерация имеет в виду ширину фитиля, измерявшуюся в линиях – одна двенадцатая дюйма. Дед слышал, что венская фирма в конце века выпускала больше пятисот моделей керосиновых ламп, но и он не мог себе представить, что можно было придумать новое даже для пятьдесят первой модели. Бабка вспоминала, что в Вильне у них в гостиной одна лампа была из севрского, а другая из мейсенского фарфора, и жалела, что не захватила их, когда бежали от немцев в ту войну. Дед говорил: с него достаточно и того, что с собой всюду возили козетку а-ля Луи Каторз.

К долгой вечерней работе лампу готовил сам дед, не доверяя никому – вдруг разобьют стекло, и тогда всё пропало; сколько видел в Чебачинске Антон ламп без стёкол, больше похожих на копилки. Подстригался фитиль (дед называл его «кнот», что Антону нравилось больше: кнот-нот-енот!). Стекло чистилось ершом, хорошо промятой газетной бумагой. С газетами была проблема: выписывали только «Правду», но она сохранялась как материал для отцовских лекций по международному положению. Дед нашёл выход. В тридцать восьмом году «Правда» печатала «Краткий курс истории ВКП(б)»; целый месяц он занимал газету целиком. Но курс давно вышел отдельной книгой, и дед выпросил подшивку, говоря, что этот текст особенно хорошо впитывает грязь. Отец велел после употребления газету сразу сжигать (строгую проверку проходили и все газетные листы, вешаемые на гвоздь в сортире, – нет ли там портрета или приказа Верховного Главнокомандующего). После завершающей протирки мягкой фланелью стекло становилось прозрачным, как слеза; жёлто-оранжевый язычок пламени был большой, с лист крыжовника – совсем не то, что тусклая электрическая лампочка под потолком, при нашей сверкающей красавице читали и шили даже в углу комнаты.

Для большей светлоты на стекло надевали в виде абажура двойной тетрадный лист с дырой посередине. И посейчас, когда на даче отключают свет и приходится зажигать лампу (не идущую, конечно, ни в какое сравнение с той, оставшейся в середине двадцатого века) и нанизывать на её стекло такой абажур, Антон всегда вспоминает многократно слышанную историю, произошедшую перед войною в колхозе имени Двенадцатой годовщины Октября.

В правление пришло два письма, колхозников поздно вечером согнали в барак на общее собрание, постелили на стол кумачовую, выкроенную из лозунга скатерть с белыми буквами «ября», выбрали президиум, рабочий и почётный. Председатель Сопельняк, запинаясь, прочитал первое письмо, где сообщалось о смерти Надежды Константиновны Крупской, ленинца-большевика, жены и друга В. И. Ленина. Выступили сидевшие в президиуме бригадир Терёшкин и учётчица Кувычко (оба были родственники раскулаченных и всегда выступали), сказавшие, что Крупская – жена и друг, верный ленинец. Некоторое затруднение вызвала резолюция, но с ней справились, и Терёшкин, нацепив на ламповое стекло в виде абажура лист бумаги, записал в протокол: «Смерть Крупской считать удовлетворительной».

Надо было читать второе письмо, но председатель почему-то медлил, шарил руками по столу и затравленно озирался. Наконец, когда дальше тянуть уже было некуда, он встал.



– Товарищи! – сказал председатель хрипло. – Второе письмо пропало. Я положил его тут, – он ударил ладонью по столу, так что пламя в лампе жёлтым языком метнулось вверх, – но здесь его нету.

Все зашумели, члены президиума тоже стали оглядываться, Терёшкин заглянул под стол.

– А о чём письмо-то?

– О бдительности.

Воцарилось молчание – и зал грохнул хохотом. Потом все разом замолкли.

– Так это... – вскочил Терёшкин, – это же вред...

Но Сопельняк нажал бригадиру рукой на плечо.

К нему возвращалось самообладание.

– Дверь закрыть и никого не выпускать, – распорядился он.

Искали везде, даже под скамейками задних рядов. Кувычко сказала, что к столу президиума никто вообще не подходил. Члены президиума оглядели друг друга. Снова стало тихо.

Председатель долго не мог свернуть самокрутку, пальцы его дрожали. Потом потянулся к лампе прикурить и вдруг застыл с самокруткой в зубах. На ламповом стекле в качестве абажура, с дыркой посередине, было распялено письмо о бдительности.

После этого собрания Сопельняка сняли, он спился и вскоре замёрз пьяный ночью во дворе собственного дома по пути в клозет.

Даже обычные нитки попадали в дом почему-то в виде перепутанного клубка, который предстояло распутывать. Делал это дед, но, к сожалению, он считал, что такое занятие воспитывает терпенье и очень полезно детям. Никто из нас не выдерживал больше десяти минут; было непостижимо, как такой нудятиной можно заниматься часами. Дед не заставлял, говорил: сколько сможешь, но именно поэтому бросить сразу считалось неудобно. Второй этап шёл веселее: мотать эти нитки на пустые катушки (у деда намотка получалась как фабричная: ряд к ряду), которые дед не выбрасывал, видимо, никогда – на многих сохранились наклейки «Зингерь». Дед как будто знал, что будет долгая война и исчезнут многие необходимые предметы: в кладовке у него хранились фитили, листы оконного стекла, сургуч, канифоль, точильные бруски, мешковина, полотна ножовок по металлу, болты и гайки, ненасажённые топоры и молотки, куски сапожного вара, пряжки, мусаты, напильники. Видимо, таким же знанием обладала и бабка, потому что среди её запасов были иголки, пуговицы, напёрстки, нитки мулине и обычные (в ненавистных комках), тесьма, обрезки флизелина, корсажная лента, бахрама, клеёнка, скатерти и даже неиспользованные простыни голландского полотна.

Шили всё сами, но иголки надо было иметь (в деревнях за одну давали гуся и курицу). Когда баба однажды обронила иглу, её искала вся семья. Пол расчертили мелом на квадраты; каждый исследовался до сантиметра. Выручила мама: принесла из лаборатории магнит, которым стали водить по всем щелям меж половиц. И иголочка прилипла! Переплёткин мог выковать даже лемех для плуга, хотя и ворчал, что такие сложные профили пусть делают на Уралмаше, но пилу сделать не мог. Раму мог связать любой плотник, но в неё надо было вставлять оконное стекло.

Может, такими запасливцами и выжила огромная страна, её гигантский тыл, где всё было для фронта, всё для победы, где практически исчезли магазины и годами не поступали населению кастрюли, бритвы, градусники, ножницы, зубные щётки, очки.

Вернулся с войны муж тёти Ларисы, Василий Илларионович. Молча осмотрел пресс для свёклы, ручные жерновки, мелкодырое решето, сделанное из детской ванночки (с неделю дырявили дно пробойником и дня два зачищали рашпилем заусенцы), знаменитый градусник, толчёный мел с древесным углём, выполнявший функции зубного порошка, мохнатый нескладывающийся зонт из телячьей шкуры («Робинзон, живой Робинзон!»), деревянное корыто для свиней, выдолбленное из комля липы, приспособление для формовки мыла, ткацкий станок –

тут ему слегка втёрли очки; на станке никто не ткал: по основе он работал ещё ничего, но по утку давал слишком редкую нитку, да и с сырьём было туговато.

– Впечатлительно. Образец натурального хозяйства эпохи позднего феодализма. Есть только два недостатка. Первый: отсутствует кожевенное производство.

– А кожи мокнут у нас за сараем, в чане, они очень вонючие, – вмешался Антон.

– Сдаюсь. Один недостаток. А именно: вы не умеете делать презервативы. Петр Иванович, вы как историк – в натуральном хозяйстве XIX века не было презервативов?

Разговаривали при Антоне свободно; предполагалось, что он не понимает, о чём речь.

Отец дал справку: презервативы были известны гораздо раньше, ещё при Людовике XIV, делали их из узкого отростка мочевого пузыря королевского оленя. Из одного оленя – один презерватив. Он был очень тонкий и невероятной прочности – когда мочевой резервуар оленя заполняется, он растягивается в несколько раз и выдерживает огромные нагрузки – например, длительный бег скачками. Современные технологии не могут создать чего-нибудь аналогичного по эластичности и прочности. (Антон занимало и потом – как обстоит дело с этим соревнованием теперь, в конце двадцатого века?)

– За чем же дело стало? – веселился Василий Илларионович. – В Чебачинске, конечно, нет королевских оленей, но полно быков! Завтра же иду на бойню к нашему другу Бондаренке и беру у него пару бычьих пузырей!

– На помощь пару пузырей, на помощь пару пузырей, – запел Антон.

– Бычьи не подойдут, – сказал отец. – Слишком толсты.

– А у косули? В лесах за Боровым – тьма косуль. Это же почти королевский олень. Двустволку мою Лариса сохранила, отличное ружьё, с дамасковыми стволами, замки в шейку, ложе ореховое... Давно я не охотился. Завалим косулю-другую.

Но про мочевой пузырь косули даже дед ничего не знал, как и про этот орган у сайгаков, которые тоже водились недалеко – в степях за рудником Степняк.

«Презерватив» звучало хорошо, но, поколебавшись, для повторения перед засыпом Антон отдал предпочтение недавно услышанному слову «псориаз». Псо-ри-аз.

### 13. Человек, Которыйнеест

– Приходил Которыйнеест, – сказала тётя Лариса.

Так прозывался Сергей Иванович Серов, музыкант, сосланный ещё в 38-м и квартировавший неподалёку.

Прозвище дал Антон, обозначив таким образом музыканта среди приглашённых на встречу Нового, 1945 года в перечне, написанном мелом по чёрной жести голландки. Объясняли прозвание два обстоятельства: тётя Лариса читала толстую книгу «Человек, который смеётся», и – Антон впервые видел человека, регулярно отказывающегося от бабкиного предложения закусить чем Бог послал.

Которыйнеест в этот раз приходил, чтобы у кого-нибудь из членов патриархального клана взять урок растопки печи. Из военкомата ему привезли машину дров, по такому случаю он решил переселиться в большую комнату с отдельным входом. Но отдельный вход существовал в паре с отдельной печью, кою предстояло этими дровами топить самому – хозяйка, вдова колчаковского полковника, дополнительную топку взять на себя отказалась.

– Так это ж сколько вам хлопот! – удивилась тётя Лариса.

– И очень хорошо. Надо же как-то избыть отпущенное мне ещё в этом мире время.

Но больше удивлялась тётя Лариса, с чего это майор так расщедрился. Выяснилось: Серов ещё до войны для своих учеников на станции сочинил марш, майор его недавно услышал, загорелся иметь собственный марш, музыкант аранжировал его для духового оркестра и получил дрова.

Серов преподавал музыку в городской школе и станционной, за ним присылали оттуда машину или лошадь.

Знакомства Серов, кроме Саввиных, ни с кем не водил. В конце войны к нему приехала какая-то женщина, но очень скоро умерла. Буквально следом умер и он, поговаривали о самоубийстве. Несколько писем Серова этой женщине (видимо, очень небольшую часть) Антон нашёл после смерти отца; к нему они попали, наверное, потому, что там упоминалось его семейство.

*«10 ноября 1940 г. Получил Ваше письмо, милая Ольга Васильевна. Спасибо, голубушка, за все хлопоты. Деньги вышлю, как только дадут. Тут с этим непросто. Мой знакомый преподаватель, по совместительству художник, написал маслом на огромном жестяном листе плакат-рекламу для сберкассы: старый казах-аксакал прячет деньги в кубышку, а не заводит сберкнижку. Но заказчик-директор сказал, что старик получился слишком отрицательный, подрывающий национальную политику, и денег художнику платить не хочет.*

Ещё летом у меня появился урок – местная очень успешливая спекулянтка по фамилии Делец (ей-богу!) пожелала, чтобы я учил фортепьяно её старшую дочь. Девочка музыкально очень тупа и вообще неразвита, но, кажется, это понимает, что вызывает к ней симпатию.

Вы спрашиваете про здоровье. С сердцем хуже, но меня это даже радует. Вот уже двадцать шесть месяцев я здесь. Почему? зачем? что я тут делаю? Поэтому всякую хворь я приветствую, ибо она приближает к чаемому финалу.

Кончаю, т. к. пишу при скверной, трещащей, хотя и добытой по блату свечке – в этом Богом забытом ужасном „городе“ почему-то всё время перебои с керосином. В одной милой интеллигентной семье – Саввиных, с которой я недавно здесь познакомился (и жалею, что не сделал этого раньше), в таких случаях жгут лучину – не думал, что мне придётся это когда-нибудь увидеть. Покойной ночи! Ваш С. И.

*5 апреля 1941 г. Получил Ваше ласковое письмо, милая Оля (позвольте так Вас называть). Что я читаю? Здесь почти нет книг, изданных после 1913 года. Сначала было непривычно, но теперь я нахожу в этом особое странное удовольствие. Читаю с интересом королён-*

ковское „Русское богатство“, к которому в юности относился с иронией, приложения к „Ниве“. Перечитал Тургенева, Толстого, Гаршина, Бунина (он здесь не изъят), ещё кое-что из великой нашей литературы. Может, поэтому в русской провинции и сохранились такие люди, как старик Саввин, что они читают только классику, не ходят в кино, не читают газет, у них не гремит целый день радио – они остаются вне *этого*?

Не знаю, когда смогу отправить это письмо, ибо начинается распутица. Почта находится в бывшем доме купца Сапогова – роскошное из столетних брёвен здание типичной сибирской архитектуры. И хотя до неё всего квартал, как здесь произносят, но с моей ногой не добраться. Мне рассказывала Фая Раневская, она таганрожка, что раньше в её родном городе некоторые жители зарабатывали тем, что за гривенник переносили на спине пешеходов на другую сторону улицы, так глубока была грязь. Недурно бы и здесь завести такую услугу.

По означенной причине никуда не хожу, но – езжу. За мною иногда заезжает на бричке, запряжённой очень живописным конём Мальчиком, старик Саввин, глава той самой семьи, о которой я Вам уже писал. Он же отвёз меня как-то в „театр“: в местном техникуме его дочь, педагог, со студентами поставила „Маскарад“! И – представьте – это можно было смотреть! Всех, всех Вам благ.

Ваш С. И.

P. S. К нашему теперь уже столь давнему спору о путях России, когда судьба и ж/д транспорт, точнее, судьба, выбравшая его орудием, подарила нам целую ночь разговоров. Так вот: история не является сначала в виде трагедии, а потом – в виде фарса. А часто сразу – в виде фарса. Но этот фарс и есть одновременно трагедия.

25 июля 1942 г. Огромное спасибо, милая Оля, за предложение прислать сладкое – с июня прошлого года здесь ничего не стало, в магазинах пустые полки, большинство закрыто. Сахар продают только стаканами на базаре. Но, видимо, и этого скоро не будет: хотят ввести твёрдые цены для рынка – вернейший путь к тому, чтоб всё исчезло и там. По карточкам отоваривают плохо, вместо хлеба иногда выдают пшённую крупу или муку. А что мне с ней делать? Мне рассказывали, что здешняя учительница математики, как и я, долго жившая в Ленинграде, забалтывает эту муку в стакан с тёплой водой и ест (пьёт?). Я попробовал, но меня стало тошнить. До чего вовремя ушла от нас Соня. Сейчас с её диетой ей было бы очень трудно. Скорей бы и мне убраться к ней.

Т. к. уроки мои после второй смены, то с учителями я не встречаюсь и в десятый раз не слышу вопрос, не родственник ли я композитору Серову (первые два раза я порадовался эрудиции провинциальных учителей, но один оказался из Ленинграда, другая – из Куйбышева).

Нигде не бываю, только иногда у Саввиных. Эта семья вообще очень интересна. Они не ссыльные, прибыли сюда добровольно – просто уехали из Москвы от греха подальше, живут здесь сравнительно недавно и сами себя обеспечили всем, вплоть до мыла, которое, представьте, варят! Подсмеиваются над эвакуированными, не желающими обрабатывать землю, которой здесь за городом, в степи, можно получить под огород сколько угодно. Видимо, осуждают не они одни. Позавчера я попал в середину разговора – их сосед, капитан Сумбаев, недавно демобилизованный по ранению, очень горячился: „Я офицер, кавалер четырёх царских и пяти советских орденов! Имею ранения! Но я вот этими руками и этой ногой, – он пристукнул своим зеркально начищенным сапогом, – один вскапываю десять соток. Почему же они ручки боятся замарать!“

Да, наша жизнь устроилась так, что выживают только (не считая известно кого) сильные физически и духовно. Но что делать негероям, обывателям (в старом, не отрицательном значении этого слова)? Они же трудились и тоже создавали совокупный продукт и сейчас работают на оборону.

Среди эвакуированных оказалось почему-то много жён работников киевского горкома партии. Это были полные, солидные дамы; одна рассказывала, как в Кисловодске ей удавалось

ежегодно сбрасывать три-четыре кило. Через полгода я её не узнал – без всяких нарзанных ванн она похудела килограмм на десять, не меньше. А ведь они прикреплены к райкомовскому распределителю. Чем же они питались в своём Киеве?..

*14 января 1945 г.* Напрасно Вы утруждаете, Оленька, себя хлопотами. Вы даже не представляете, насколько мне безразлично сейчас, что ответит прокурор.

Новый год встречал у Саввиных. О Петре Ивановиче, преподавателе истории, я Вам уже писал, остальное – не в письме, при встрече. Со стариком беседовали о Бортнянском; я сказал, что этого композитора он знает лучше меня. Кстати, я узнал от него, что раньше церковного певчего называли „лирик“. Он, как и все его братья, окончил духовную семинарию в Вильне. Кто, оказывается, в этом городе только не жил! Даже Булгарин в 1820-х гг., с ним был знаком дед Леонида Львовича. Когда я уходил, он посмотрел на меня и сказал, хотя про свои настроения я, естественно, ничего не говорил, что один из самых больших грехов – грех уныния. „Смеяться-веселиться?“ – сказал я, может несколько раздражённо. „Православное духовное веселие не в смехе, – ласково сказал он, – но в житие с улыбкою“.

В этой семье есть очень забавный мальчик лет восьми. Услышав его имя, я сказал не очень остроумно: „Антонов есть огонь, но нет того закону...“ Он не отстал от меня, пока я не процитировал ему всё, что помню из Козьмы Пруткова. А сегодня он показал мне целую тетрадку – оказывается, он за эти две недели опросил всех окружающих и за каждым что-то записал. Этот мальчик знает наизусть „Крокодил“, все стихи из „Огонька“ и статьи из „Календаря колхозника“ за 1939 год. Когда Леонид Львович сказал мне про грех уныния, он шёпотом пропел из примитивно-мажорной с ещё более примитивными словами песни Васи Соловьёва (который зачем-то к своей фамилии добавил „Седой“): „Место горю не давай, если даже есть причина, никогда не унывай, не унывай!“ Бедное дитя.

Я Вам, кажется, писал, что занятия у меня вечером, и утром я долго лежу. Но ведь думать можно и лёжа. Приходят любопытные мысли – например, о Мусоргском, композиторе всё-таки недооценённом в смысле его влияния на двадцатый век. Любопытно и увлечение в этом веке И.-С. Бахом. В основе своей он рационалистичен, и интерес к нему связан, видимо, с распространением точных наук и технической культуры.

Я написал выше „при встрече“. Это – идя навстречу (простите плохой каламбур) Вашим интенциям; на самом деле оптимизма Вашего не разделяю: даже после окончания войны вряд ли можно будет просто купить билет и приехать – останется и заверенный вызов, приезд не вообще, а на работу и т. п. И прежде всего это будет касаться таких, как я. Напишите, имеете ли в виду что-то конкретное или это мечты? Не хотелось бы откладывать встречу на год-два, не такие у меня здоровье и возраст, не оказалось бы поздно. Боже, неужели это возможно, моя милая, дорогая?.. Навеки Ваш С. И.»

## 14. Землекопы и матросы

Первым человеком, который сказал что-то о будущем Антона Стремоухова, была приехавшая с сибирского золотого прииска тётя Лариса.

– Мальчик-то губастый какой. Даст шороху по женской линии.

За жизнь Антон так и не понял, дал он шороху или нет.

Вторым был сосед, Борис Григорьевич Гройдо, наблюдавший, как Антон роет колодец. Антону было пятнадцать лет, с восьми он рыл ямы для компоста, канавы, погребов, копал огород – всё, что требовалось в нормальном натуральном хозяйстве. Но колодец – совсем другое. При рытье ямы у тебя свободный разворот. В колодце ты – на дне, не повернуться, землю выбрасывать высоко, неудобно, она сыплется на голову, ссыпается и тогда, когда её начинают вытаскивать бадьями. Сосед сказал:

– Хорошо роешь. Не халтуришь. Толк из тебя выйдет. Колодезником не будешь, но халтурить не станешь и в своём деле.

Про халтуру он оказался прав, про копанье – нет. Антон копал всю жизнь: в школе – картошку и силосные ямы в колхозе имени Двенадцатой годовщины Октября, свёклу и морковь в подмосковных совхозах, куда каждый год в сентябре отправляли студентов МГУ, ямы для туалетов на дачах друзей и знакомых, траншеи на овощебазе Киевского района Москвы.

Была у него ещё одна многолетняя обязанность: во дворе музея одного из самых знаменитых советских писателей, где институт истории всегда работал на ленинских субботниках, Антон каждый год выкапывал большую яму. Завхоз ждал этого дня, звонил в канцелярию, спрашивал, придёт ли Петрович из отдела русской истории XIX века; не прийти после этого было нельзя, да он и не собирался сачковать, он любил эти субботники, воскресники, любил накартошку, работу на овощебазе, только стеснялся в этом признаться.

Сейчас модно писать, как молодёжь, интеллигенцию принуждали бесплатно работать в колхозах и на овощебазах. Меня никто не принуждал. Я воспринимал это как праздник. Разве можно сравнивать: сидеть на обязательной лекции по истории КПСС, на нудном заседании отдела – или копать, копать? Там была ложь, а это была правда. Правда лопаты, если говорить в духе твоей ментальности, сказал бы Юрий Ганецкий.

Никогда он не испытывал такого наслаждения от чтения статьи или писанья своей, как от рытья серьёзной ямы. В музее он сразу, пока все ещё слонялись, курили, сидели на крылечке, брал лопату и начинал. Копать! И пока кто-то лениво сгребал мусор, кто-то жёг сухие листья, он вгрызался в землю. И вскоре был в яме уже по пояс, а к обеду из неё торчала лишь голова. Подходили к краю, заглядывали. Кто-нибудь цитировал: «Я за работой земляной свою рубаху скину». Видно, великий поэт не знал как следует земляной работы. Долго так не проработаешь. Кто умеет правильно копать, тому рубаху скидывать не надо.

Яма – это искусство. Заставьте нынешнего пропагандиста народных корней и национального русского духа вырыть яму под саженец в твёрдом грунте (по обочинам всегда бывает такой). Он будет долбить лопатой по одному месту, потом в это же самое место начнёт бестолково тыкать ломом и с удивленьем обнаружит, что за полчаса надолбил пригоршни мелких комьев; он будет говорить, что лопата тупая, он станет бродить, смотреть, как копают другие, т. е. тоже долбят и скребут по одному месту; все вместе они выкопают к обеду полтора десятка похожих на общепитовские тарелки ямок с косыми стенками, в которые ничего нельзя посадить.

Яма – это наука. Тяжелее всего – первый вкоп. Потом надо сделать узкую выдолбку – пусть мелкую – во всю ширину ямы. Не мельче чем на две трети штыка. Любым путём, любыми усилиями. Даже непрофессионально выпарапывая грунт. Но зато потом ты начинаешь землю срезать, и она отваливается легко, и твёрдый грунт уже не наказание, а радость, он не рассыпа-

ется, а нарезается целостными влажными каравайными ломтями, которые сидят на лопате, и ты выбрасываешь их вон сразу, а не собираешь землю по горстке. С каждой проходкой лопата идёт легче, уходит глубже – вот уже на полный штык. Ты не отдыхаешь, чтоб не прерывать наслаждения. Ты не останавливаешься – в этом ритме можно работать часами: нажим – перехват – бросок – нажим.

Землекопным учителем Антона в Чебачинске был шахматист Егорычев. А его учили на Беломорканале, куда он попал вместо всесоюзного шахматного турнира по доносу своего соперника; доучивали на канале Москва – Волга.

– На Беломоре – поляны или лесная земля после раскорчёвки – пух! А в Подмосковье – тяжёлые грунты. Площадка у населённых пунктов задернённые и затоптанные вместе. Дороги. Копать по науке – всё равно что. Тяжело эти спрессованные грунты – возить. Кубатура та же, да вес другой. А зачёт – по числу тачек. Техники никакой. Бульдозер я в первый раз уже после войны увидел. Кто каналы прошёл – в землекопных делах профессор.

Позже Антон спрашивал, не знал ли он философа Лосева, который тоже был там. Егорычев не знал, но помнил стихи:

Тачку тяжко везём по гробам.  
Лучше б Лосев молчал про пиво,  
Что давали в Египте рабам.

Однажды Антон копал погреб старушке, соседке по даче, которую снимал в то лето по Казанской дороге. Погреб был очень нужен – холодильника не имелось и не предвиделось. Старушка сказала, где копать, и уехала, он начал с ранья, увлёкся, копал дотемна и вырыл яму глубже своего роста. Приехавшая наутро хозяйка не поверила, спрашивала, кто помогал; сосед засвидетельствовал: «Один рыл, этот лоб. Как экскаватор». Она всё ахала, заговаривала про оплату, хотя он сразу сказал, что сам готов приплатить за счастливое времяпрепровождение, – и теперь повторил, что ничего не возьмёт. Тогда она заплакала. Её мужем был Стэн – известный в двадцатые годы марксист. Учил марксизму Кобу, как они все его ещё называли. Штудировал с ним Гегеля, Маркса, тогда мало переведённых, готовил лекции, которые Сталин читал в университете им. Свердлова и из которых получились потом «Вопросы ленинизма». Кто-то спросил Стэна: «Ну как Коба в качестве ученика?» – «Туповат», – ответил Стэн. Он исчез, когда ещё не было принято брать семьями, может, потому вдова осталась жить. Она плакала и говорила: «Мне никто ещё не рыл ям».

Первую плату за землекопные работы Антон получил в тридцать пять лет на рытье траншеи для здания Комитета стандартов на проспекте Мира. За неделю – свою двухмесячную зарплату младшего научного сотрудника. Здание построили, не озаботившись подготовить траншею для коммуникаций, а теперь экскаватор между ним и стеной другого дома не проходил. Сроки, конечно же, подпирали. Именно для таких случаев существовали летучие бригады, работавшие сдельно; землекопы трудились с рассвета до темна, а если надо – и при электричестве.

Надо было срочно перебросать кучу земли, которая осталась от котлована и к которой тоже не подобраться экскаватору. Антон сказал:

– Я перебросаю.

Пётр, бригадир летучих бригад, посмотрел внимательно. Он видел всякое.

– Бросай.

Вечером Пётр, как всегда, приехал на своём «москвиче». На месте кучи была площадка. Стремоухов доскрёбывал её совковой лопатой.

– Школа Беломорканала? Учил – кто-нибудь оттуда?

– Оттуда меня учили копать. Бросать учили – из другого времени.

Из другого времени был одноглазый Никита – рабочий котельной чебачинской угольной электростанции, а когда-то кочегар броненосца «Ослябя», участник Цусимского сражения. «Это тот броненосец, что перевернулся?» – спросил начитанный мальчик Антон, опираясь на сведения, почерпнутые из романа Новикова-Прибоя. Никита, за всю жизнь прочитавший, кроме инструкций котлонадзора, только один художественный текст – рассказ Толстого «Акула» и не подозревавший, что такое можно узнать из литературы, был потрясён, Антона полюбил и разрешил заходить к себе в котельную, чего вообще не поважал: «Прикурить? Угольку? Щас я тебе топку раззявил. Спичку? Чиркни х... по яичку!» Антона поил молоком.

– Неуж стали давать за вредность?

– ...я с два. Нюрка приносит. Сначала мне – вершки, а снятое – в райком. Хорошо тому живётся, кто с молочницей живёт. Молочко он попивает и молочницу...т.

К молоку полагались бублики, кои он приносил откуда-то из дальнего угла котельной, нанизав на чёрный от угля палец всегда одно и то же число: три штуки, они тут же съедались, и приходилось идти сызнова.

– Палец не..., – с сожаленьем говорил Никита, – пять штук не наденешь.

И снова приносил три бублика.

Никита рассказывал много чего, но период их тесной дружбы пал на девятый класс – самое критиканское время в жизни Антона. Он многому не верил – например, что Никита был знаком с автором песни «Раскинулось море широко». И, осмелев, прямо спрашивал, не травит ли кочегар. «Вот те хрест», – крестился тот; уже студентом Антон узнал, что автор знаменитой песни, бывший моряк, благополучно здравствует в Таллине.

Ещё раньше, классе в пятом, Антон слышал от Никиты, что герои-матросы с «Варяга» вовсе все не погибли, – и в первый же год московской жизни Антона этому явилось подтверждение: в 50-летний юбилей истории с крейсером в газете поместили снимок всех ещё живых к тому времени моряков – одетые в форменки с гюйсами, они обсели весь редакционный стол. По сведениям Никиты, корабельный священник на героическом судне, о. Михаил, был братом капитана. Так или нет, узнать Антону потом не удалось, но фамилия у священника действительно была та же – Руднев.

Из любви к просвещению Антон тогда же рассказал своим приятелям-пятиклассникам, что оставшихся в живых с «Варяга» вывезли на лодках.

– На лодках? – закричал самый главный милитарист Генка Меншиков. – Во-первых, на шлюпках! И никто их никуда не вывозил! Ты что, не видел кино «Гибель „Варяга“»? А в песне как?

И своим твёрдым маленьким кулачком, как он хорошо умел, ткнул Антона прямо в зубы. Всеобщая молчаливая поддержка была на его стороне. Плюя кровью, Антон плёлся домой.

Это был не первый случай, когда его били за неверие в фантастические сведения. Первый был с орлом, когда он усумнился, что есть такие, у которых размах крыльев – от речки до улицы Набережной, то есть метров пятьдесят. Второй случай – когда Генка Созинов рассказывал, что огромные круглые валуны на Озере сначала были мелкой галькой, а потом выросли до размеров с пол-избы. Антон, опираясь на учебник «Неживая природа», утверждал, что камни не растут, а только разрушаются. Третий – Антон не верил, что если в середине пыльного смерча в землю воткнуть нож, то брызнет кровь – чёрта. Последний случай из детства был уже в седьмом классе, когда Генка Меншиков, выучась брать несколько аккордов на гитаре, пел «но и молдаванки и пэрессы обожают Костю-моряка». Этой бессмыслицы Антон вынести не мог и сказал, что надо петь «Молдаванка и Пересыпь» – т. е. улицы в Одессе. Генка поднял дикий хай, Антон был с брёвен изгнан.

Но эти случаи Антона не учили, жажда света истины оставалась неистребимой. В университете он чуть не подрался с Толей Филиным, оспаривая на основании фактов полководческий гений Сталина. Уже были напечатаны слова «культ личности». Но как вскинулся Толя,



как стал кричать, что Сталина партия посылала на самые важные фронты – и дальше по «Краткому курсу». «И чего ты с ним об этом, – увещевал положительный Коля Сядристый, – его так учили в курском педучилище».

Когда Антон просил Никиту рассказывать про Цусиму, тот всегда отнекивался.

– Да прочитай в своём кирпиче, что мне показывал. А вот про «Варяга» – везде туфта одна. Есть у меня один дружок – с «Варяга». В Омске живёт. Приезжает иногда. Тоже кривой. Мы и дружим: пара глаз на двоих. Надо вас свести.

Но свести их Никите удалось, когда Антон был уже студентом; зато уж тут рассказ друга Никиты он записал. Забыл, правда, спросить такую мелочь, как фамилия рассказчика; теперь уж не узнать. По его рассказам, дело было так.

– «Варяг» с «Корейцем» на посту Чемульпо стояли – в распоряжении, значит, посланника нашего, Павлова... И японский крейсер тут стоял... Видим, снялся он и меж другими всякими судами путается. Ну, думаем, что-то не то. А ночью огни потушил, по-боевому, и ушёл совсем. Утром посылает командир наш «Корейца» – с письмом в Порт-Артур. Отошёл тот мили четыре от рейда – навстречу ему японская эскадра: шесть боевых, добровольческие и миноноски... Три мины в него пустили, однако не попали. Видит «Кореец» – не пройти, повернул. Тут уже мы стали готовиться... За ночь на палубу столько снарядов понатащали, что не повернуться. Командир наш Руднев на крейсер «Тальбот» поехал с англичанами и французами разговаривать, а японский адмирал прислал туда бумагу, чтоб на бой выходили. К нам на «Варяг», значит, побоялся прислать. Вернулся командир на крейсер, команду на шканцы собрал. «Вот, братцы, – говорит, – война! Если бы они были порядочные люди, нас бы выпустить должны, а так... Сражаться будем до последней возможности и сдаваться не будем. Каждый делает своё дело. В случае пожара тушите без огласки, так же с пробоинами. Да что тут долго разговаривать. Осеним себя крестным знаменем и пойдём смело в бой за веру, царя и отечество. Ура, братцы!» Тут музыка заиграла, «Боже, царя храни» запели, простились мы друг с другом, каждый другого просил, чтоб домой написал, если меня, к примеру, убьют. И пошли мы с рейда. А на всех судах англичане, французы, итальянцы команды повыстраивали, «ура» нам кричат, наш гимн играют... А японцев – шесть больших и восемь миноносок. Ну, они не дали нам выйти, как по закону должно, на восемь миль, а ещё в проходе в самом узком месте стрелять зачали... «Варяг» сперва не отвечал. А потом началось – нельзя рассказать! Ну, упадёт рядом с тобой кто, переступишь. Да некогда думать было. Каждый своё занятие имел. Мичмана нашего бомбой – одна рука осталась, по руке и узнали, нежная была такая, и манжет твёрдый, белый, в буквах – он на него стихи записывал... Капитан отлучился с мостика на минуту, а туда бомба – уже шёл обратно – ничего, контузило только. Героический был капитан. Меня царапнуло тогда же – с тех пор и глаза-то нету. Потому и в кочегары пошёл – с флота уходить не хотел.

– А пишут – открыли кингстоны.

– Это потом открыли, когда уже мы все, кто был жив, сели в шлюпки, что с иностранцев прислали. Пишут: герои, мол. Да просто всё было. Ночью накануне никто не спал. Я помогал буфетчику. Принёс с ним в кают-компанию поднос с шампанским. А офицеры не платили – записывали каждому на его карточку. Буфетчик вытаскивал карточки. А мичман смеётся: «Да завтра никто из нас жив не будет!» Буфетчик аж побледнел – то ли помирать не хотел, то ли деньги пожалел...

Держать в руках совковую лопату Никита учил Антона недолго.

– Ты видал корабельную топку? Броненосца, в тридцать тысяч тонн водоизмещением? Не видал. Вот здесь топка, – Никита неуловимым движением открыл дверцу («Дверь топки привычным толчком отворил»), – длинная, потому что котёл цилиндрический протяжённый. Так вот. Пароходная – куда длиннее. А уголь надо забрасывать равномерно по всей пламенной поверхности, и к задней стенке тоже. Помахай лопатой смену, в трюме, да в Красном море,

когда и поверху, на палубе босиком не пройдёшь – как по сковородке, вроде как в аду. Не умеючи, часа не прстоишь, кишочки поднадорвёшь.

Наука Никиты была, как потом понял Антон, в чередовании напряжения и расслабления. Конечно, лопата должна быть не до пояса, как все эти дурацкие заступы, а с черенком нормального размера, до подбородка, чтоб был размах. Посылаешь тяжёлую лопату вперёд, и когда куски угля соскользнули с неё – плечевой пояс и руки расслабляются, лишь придерживая лопату, чтоб не улетела в топку («У салаг такое бывало: отпустит – и с концом, тысяча градусов, только дымок от черенка»). И этой секунды мышцам хватает, чтобы снять напряжение, отдохнуть. Как в бросе: толчок, усилие – скольжение – расслабление. Опытному пловцу легче в воде, чем на суше, он может плыть много часов. Дед приводил другой пример. Почему вредны – особенно детям – шариковые ручки? Рука в напряжении всё время. При писании же обычным пером напряжение чередуется с расслаблением: нажим – волосая линия – нажим. Никита говорил, что выстаивал и по две смены, и ничего, руки не замлевали.

Антон зачарованно глядел, как он, открыв быющую в лицо жаром топку («и пламя его озаарило»), безуильно швырял в её огненно-белую глубину сверкающие глянцевые куски антрацита («Хороший уголёк даёт Караганда, мать её так!..»). И сам сверкал своим тоже чёрным единственным глазом, матрос русского флота кочегар Никита, сорок пять лет простоявший у топки.

## 15. Вдовий угол

По утрам дед по-прежнему, несмотря на своё полулежачее состояние, брился сам, доверяя Антону только взбивать пену в широкодонном медном стаканчике, именуемом «тазик», и – уже со вздохом – править «Золинген» на ремне. Подравнивал усы, виски, тщательно выбривал щёки, *подпериши их изнутри языком*.

Раньше, когда Антон приезжал на каникулы, дед любил за завтраком расспрашивать, как там в столицах. Антон старался рассказать ему что-нибудь любопытное, например про встречу студентов МГУ с Николасом Гильеном, и даже цитировал его стихи, которые на вечере с пафосом читал переводчик прогрессивного поэта: «Он теперь мёртвый – американский моряк, тот, что в таверне показал мне кулак». Реакция деда, как всегда, была решительной:

– Наши были бандиты, и эти, кубинские – тоже бандиты.

Вспоминали; их общие с дедом воспоминанья теперь уже отстояли – не верилось – на тридцать, тридцать пять лет.

– А помнишь, дед, как вы меня с отцом экзаменовали?

– Да-да, когда Пётр Иванович выпьет. Ну, это было нечасто – где было взять? Сдавали картошку – за мешок полагалась бутылка, мама твоя иногда принесёт чуток спирту из лаборатории. Но она боялась... Сядем с ним, я выпью свою рюмку, Пётр Иванович – остальное. Позовём тебя – ты был очень забавный. Развлечений же никаких.

Называлось: экзамен по философии.

– Леонид Львович, сначала – вы, начнём, по хронологии, с богословия.

Дед охотно вступал в игру. Очень серьёзным тоном он спрашивал:

– Какие суть три царства в тварном мире?

– Три царства суть, – отбарабанивал Антон, – царство неживое, видимое и ископаемое, царство прозябаемое – растительное и царство животное.

– Относится ли человек к царству животному?

– Не относится, ибо он есть особенное Божественное творение.

– Ну-ну, – говорил отец. – Посмотрим, осталось ли что-нибудь в твоей головке от марксистской философии. Почему учение Маркса всесильно? Не помнишь? Потому что, – он подымал вверх палец, – потому что оно верно.

– Что есть истина? – задумчиво говорил дед.

– Идём дальше. Из чего состоит окружающий, или, как сказал бы твой дедушка, видимый, мир?

– Весь окружающий нас мир состоит из материи, – отвечал Антон. Помнил он это, как и всё, что ему говорили, хорошо, но всегда удивлялся, что и печь, и стены, и дорога одинаково состоят из мягкой материи вроде той, из которой мама по вечерам строчила на машинке трусы и лифчики.

– А что мы имеем в безвоздушном межпланетном пространстве?

Это было ещё непонятнее, но что надо отвечать, Антон также знал твёрдо и произносил с удовольствием:

– Тоже материю, она вечечна и бесконечечна.

– А что есть жизнь? – спрашивал отец. – Вы, Леонид Львович, вряд ли ответите на такой вопрос.

– Пожалуй, – говорил дед, подумав. – Я могу сказать только об её источнике – богоданности.

– А мы знаем! – с торжеством говорил отец, успев за время экзамена выпить ещё рюмку-другую. – Жарь, Антон!

– Жизнь есть существование белковых тел, – натренированно выпаливал Антон; это было понятней всего: белок был в яйце, а из яйца вылупливался живой мяконецкий цыплёнок. – Сказал Фридрих Пугачёв.

Отец от удивления поставил рюмку, но потом, поняв, начал хохотать: за улицей Маркса в Чебакинске шла не улица Энгельса, как полагалось, а почему-то улица Пугачёва, Энгельса была следующая, и Антон, запоминая автора определения жизни, их слегка перепутал.

– Я знаю то, что ничего не знаю, – вдруг говорил дед. Это было не совсем ясно, но всё же понятней, чем то, что быstroногий Ахилл никогда не догонит черепаху.

Покормив деда, повспоминав и поговорив о конце золотого века в четырнадцатом году, Антон выходил во двор. У граничного забора в это время всегда стоял Гройдо и думал, опершись на лопату. Чтоб он этой лопатой чего-нибудь копал, Антону видеть не доводилось.

– Как борьба за наследство?

– Борьба? Извольте шутить, Борис Григорьевич. За эту развалюху?

– Развалюха или миллионное имение – значения не имеет. Наследники – поверьте старому присяжному поверенному – все ведут себя одинаково.

– Но в наше время? В нашей стране?..

– В наше время и в нашей стране всё только запутанней из-за отсутствия нормального законодательства и всеобщей нищеты. Остальное – так же, как у Диккенса и Бальзака. Вот и у вас, – (Гройдо знал Антона с рождения, но когда тот поступил в университет, в первую же встречу перешёл на «вы»), – может возникнуть соблазн включиться в число соревнвателей.

Мысль про него, Антона, из-за своей абсурдности внимания не заслуживала, но что касается остальных... об этом надо было поразмыслить. «Наивность не по возрасту являлась его регулятивной чертой», – определил он себя для начала, сел на скамейку и стал думать. Когда ты концентрируешь свою мысль на бытовых вопросах так же, как на научных, говорила первая жена Антона, то получается вполне приличный результат; но он редко размышлял над бытовыми вопросами.

Вчера утром дед сказал Антону: дом надо завещать Тане и её детям, все они много страдали, это будет только справедливо, вечером же горячо говорил о том, что Ира несчастна, одна с ребёнком, живёт в какой-то клетушке при библиотеке. Когда Антон вошёл, у постели деда сидела Ира, засобиравшись, дед глядел на неё ласково.

Круг претендентов расширился. У деда успела побывать и Катка, причём привела с собою слепнущую дочку. Постыдилась бы, ворчала тётя Лариса, всё не соберётся отвезти её в Москву к Фёдорову: то ремонт делает, то стенку покупает, а девка уже почти ничего не видит. Именно тут дед сказал, что они достаточно пострадали. А когда Антон говорил деду, что дом надо оставить Тамаре, которая всю жизнь провела при нём с бабкой и у которой нет ни пенсии, ничего, – дед тоже соглашался: да, всю жизнь отдала нам, так было бы правильно.

Дед стал влияем, это было непривычно. Раньше его было не сдвинуть – ему было не важно, что его жена, сын, брат, сосед думают иначе, плевать, что газеты, брошюры, радио, страна говорят другое. Прочитав в школьной «Экономической географии СССР», что зерна в закрома родины засыпано 10 млрд пудов, коротко бросил своё любимое: «Враньё!» И пояснил неохотно: Россия перед первой мировой войной собирала 4 миллиарда пудов ежегодно – и кормила всю Европу. А теперь – только-только карточки отменили. Где они, эти десять миллиардов? И хотя сейчас голова у деда по-прежнему была ясная, становилось видно: он сильно сдал. Стал жаловаться.

– Немошен есмь. Когда ещё ногу не отрезали, мешок с мукой поднял – коленки дрожат.

– Дед, побойся Бога! В мешке пять пудов! Да кто в девяносто лет...

– Не важно во сколько. Дряхлость.

На душе делалось тоскливо и неустойчиво.

Да, Ире дом был нужен. А дяде Лёне? Двадцать лет он жил в избушке, которая не рухнула только потому, что со всех сторон была подперта толстыми слегами, образовавшими некий странный наклонный частокол. Отец всё время понукал дядю Лёню хлопотать, сам ездил вместо него в комитет ветеранов в область, составлял письма маршалу Жукову, подписанные так: «Солдат трёх войн и участник борьбы с бендеровцами, связист и гвардии рядовой Л. Л. Саввин». Но ничего не помогало, жилья не давали. «Терпи, солдат, – говорил Гурий, тоже участник трёх войн. – Жив остался – радуйся. Нельзя, чтобы всё – одному. Господь Бог – он равномерно распределяет». – «Тебе вон. Дом распределил», – отрывисто говорил дядя Лёня. «Так это Полинин, приданое. А то б и у меня ни... не было».

От всего этого голова шла кругом, Антон ощущал себя действительно среди героев Диккенса или Бальзака. «Вон из этой душной атмосферы семейных дразг и шкурных интересов». Он опять отправлялся бродить по городу.

Сегодня он решил сначала навестить свои тополя, которые сажали в третьем классе на самом первом воскреснике. За тридцать лет деревья разрослись, никто не спиливал, как в Москве, верхние их половины. Антон нашёл свой тополь; у него сохранилась фотография: мальчик в большой кепке держит за верхушку прутик. Как в «Пионерской правде»: «Впереди Никитин Ваня, он стоит на первом плане и с сияющим лицом снялся рядом с деревцом». Теперь этот прутик был выше телеграфных столбов. И кажется, выше своих соседей – Антону хотелось, чтоб выше. «Я с улицы, где тополь удивлён...»

Все пионерские мероприятия в школе носили хозяйственный характер: посадки, перепахиванье зерна на элеваторе, рытьё картошки в колхозе. Других мероприятий, сборов не было. Всё главное происходило на Улице. Улицу Антон любил, но она была к нему сурова: дразнила профессором кислых щей, била – за отказ признать, что удавы бывают в сто метров длиной или что камни растут. «Да скажи этим негодяям, – говорила бабка, примачивая ему очередные фонари под глазами, которые с невероятной точностью умел ставить Генка Меншиков, – что растут их мерзкие камни, растут!» Но в научных вопросах Антон на компромиссы не шёл, а уж с такой чепухой не мог согласиться даже под угрозой раскровянения носа.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.